



Г. БАКЛАНОВ

**МЕРТВЫЕ
СРАМУ
НЕ ИМУТ**

ГРИГОРИЙ
БАКЛАНОВ

МЕРТВЫЕ СРАМУ НЕ ИМУТ

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

МЕРТВЫЕ СРАМУ НЕ ИМУТ

(Повесть)

**СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ**

МОСКВА 1962

Григорий Бакланов известен читателям как автор талантливых повестей: «В Снегирях», «Южнее главного удара», «Пядь земли». Как и в прежних своих произведениях о событиях Великой Отечественной войны, писатель и в повести «Мертвые сраму не имут» описывает трагический момент сражения.

Тяжелый артиллерийский дивизион, ремонтировавший свои орудия, получает ночью приказ немедленно занять огневые позиции и преградить путь прорвавшимся немецким танкам. Но танки изменили направление удара, и дивизион на марше неожиданно сталкивается с ними. Героически погибают в бою командир дивизиона Ушаков и замполит Васич. Бежит с поля боя начальник штаба капитан Ищенко.

Драматизм ситуаций, внимание к малейшим душевным движениям героев — вот что характерно для творческой манеры писателя.

В полночь была перехвачена немецкая радиogramма. При свете керосиновых ламп ее расшифровали. Это был приказ командующего группой, посланный вдогон. Немцы меняли направление танкового удара.

Нужно было срочно закрыть намечавшийся прорыв. Из артиллерийских частей, стоявших поблизости, был только дивизион тяжелых гаубиц-пушек и зенитный дивизион. Ночью они получили приказ спешно выдвинуться в район деревень Новой и Старой Тарасовки, занять позиции и преградить путь танкам.

Но когда приказ был отдан и получен, немцы с марша перенесли еще южнее острие танкового удара. Однако об этом уже никто не знал.

Глава 1

То, что называлось тяжелым артиллерийским дивизионом, было на самом деле две неполные батареи: три пушки и четыре трактора. Утром только они вышли из боя и стояли в ремонте. У одного

трактора был разобран мотор и сняты гусеницы, три других ожидали своей очереди. Впервые за долгое время бойцы выжарили и выстирали с себя все и после многих суток непрерывных боев спали в жарко натопленных хатах, раздетые, во всем чистом.

А по снежной, сильно всхолмленной равнине, холодно освещенные высокой луной, двигались уже немецкие танки. Но люди спали, раскинувшись, в одном белье, даже во сне всем телом ощущая покой и тепло.

Белый дым подымался над крышами, на улицах было светло от луны, и часовые, жадно вдыхая на морозе запахи жилья, тепла и дыма, мечтали, как вскоре сменятся и, поев горячего, раздевшись, тоже завалятся спать.

Только в одном доме еще не спали. Ярко горела прочищенная ординарцем керосиновая лампа, на всех гвоздях по стенам висели шинели, и на кровати в углу, куда свет достигал слабо, шинели и оружие были свалены в ногах. За столом сидели четверо: командир дивизиона майор Ушаков, невысокий, крепкого сложения, с обветренным, грубым, сильным лицом, замполит капитан Васич и начальник штаба капитан Ищенко. И с ними была военврач другого полка. Она догоняла свою часть и заночевала в деревне. А тут как раз топили баню — редкое счастье на фронте зимой. И вот с не просохшей после мытья выющейся, черноволосой, коротко постриженной головой, в свежей гимнастерке, она сидела за столом, чувствуя ежеминутно внимание всех троих мужчин.

А пятым за столом был восьмилетний мальчик, хозяйкин сын. Он стоял у Васича между колен. Кончиком финского ножа вырезая для него птицу из дерева, Васич перехватил его робкий взгляд.

Мальчик смотрел на ярко-синюю консервную банку, на которой была нарисована розовая, глянцеваая, нарезанная ломтиками колбаса. Он смотрел на эту нарисованную колбасу. Васич взял банку, ножом выложил колбасный фарш на тарелку, подвинул хлеб.

— Ешь, — сказал он.

Босые ноги мальчика нерешительно переступили в темноте на глиняном полу между сапогами Васича. Два глаза, блестящие в свете лампы, шмыгнули по лицам. Потом коричневая, обветренная лапка быстро взяла колбасу с тарелки. Жевал он с закрытым ртом, опустив глаза. Васич не смотрел на него. Сейчас мальчик все же привык, а когда первый раз его угощать стали, он, взяв еду, прижимая к груди и глядя в пол, сразу же ушел за кровать и там, в темноте, затихнув, ел беззвучно и быстро.

— Комиссар! — крикнул Ушаков через стол. — Она, оказывается, тоже под Одессой была!

Он указывал на врача. И, считая нужным немедленно отметить такое дело, хозяйски оглядел стол:

— Арчил!

В дверях возник ординарец Баградзе с испуганными глазами. Гимнастерка его была засалена на карманах и на животе, рукава завернуты, силь-

ные волосатые руки он держал отставленными, и пальцы и ладони блестели от жира. Пахло от Баградзе жареным луком.

— Две минуты, товарищ майор!.. — заговорил он, сильно двигая усами и тараща глаза.

Повернув черноволосую голову, зная, что она хороша в профиль, военврач с интересом смотрела на ординарца. Она понимала, что все эти приготовления и суета из-за нее, и была оживлена, и щеки у нее горели.

Из-за спины ординарца, потеснив его, просунулась хозяйка-украинка в длинном фартуке.

— Он же ж не жарить. Положил на вугли, тай смалыть. Там мясо чорне зробилось, як вугиль.

И улынулась: мол, така чудна людына!

Баградзе с живостью обернулся к ней, глаза его горели яростно. Но еще живей Ушаков скомандовал:

— Одна нога здесь, другая — там!

И оглянулся победителем.

Васич, понимавший, для кого это представление, не подал виду. Они давно воевали вместе, и он знал Ушакова. Жесткой рукой с короткими пальцами пригладив светлую челку на лбу, Ушаков сказал:

— Помнишь, комиссар, Одессу? Атака — пилотку на бровь, каску на бруствер!..

Глаза его сдержанно блестели. И военврач смотрела на него.

— Молодые были, дураки, — сказал Васич. Коленями он чувствовал, как мальчик ест, глотает большие куски, весь напрягаясь. Он глянул на

военврача и Ушакова. И, добродушно улыбнувшись, пошутил только: — Человека почему-то без запчастей выпускают. Отобьют голову, после пилотку надевать не на что.

— Брось, брось, — перебил Ушаков, обнажая стальные зубы, вставленные после ранения. — Брось, комиссар!

Он пристукнул ладонью по столу, твердостью снимая любые возражения. Ему нравилось говорить «комиссар»: это был комиссар его дивизиона и его дивизион, а он — командир дивизиона. И еще в слове «комиссар» было со времен революции нечто такое, что не вмещалось в теперешнее слово «замполит».

— Это вот Ишенке так говорить. А ты сам такого духа, я знаю. Тебе только разные там теории мешают.

Ишенко, не принимавший участия в разговоре, поскольку разговор не касался его лично, спокойно улыбался и разглядывал на свет лампы свой наборный мундштучок из алюминиевых и прозрачных пластмассовых колец: он любил вещи, и ему, начальнику штаба, часто дарили их. Этот мундштучок выточил для него артмастер. Он курил, улыбался и чувствовал превосходство над обоими, наблюдая, как они ухаживают за врачом: он был женат.

Ушаков повернулся в его сторону, и ремни на сильном теле скрипнули.

— А ты чего смеешься? Письмо из дому получил? Как ты там жене описываешь: «Мицно целюю, твий Семен»?.. Так, что ли?

Но и сейчас Ищенко не смутился. А Васич, осторожно вырезая клюв птицы, улыбнулся в душе бессознательной, но верной тактике Ушакова: тот поодиночке разбивал своих возможных соперников.

— А ну, покажи фотографии, — приказал Ушаков, взглядом пригласив врача посмотреть, как бы обещая что-то очень смешное. — Показывай, показывай!

Все с той же улыбкой превосходства Ищенко стряхнул пепел в консервную банку, положил мундштучок на стол — под ним сразу же начало растекаться молочное пятно дыма. Из нагрудного кармана он достал записную книжку, из записной книжки — конверт, а из конверта — потертые фотографии. Пока он их вынимал, слышно было, как за дверью ссорятся ординарец и хозяйка. Потом, качая головой и неодобрительно улыбаясь, вошла хозяйка, видимо изгнанная из кухни.

Это были обычные предвоенные фотографии. В лодке. Ищенко в трусах, с прилипшими ко лбу мокрыми волосами, сощурившийся от солнца, и его жена, в белом платье, с белыми лилиями на коленях, уложенными так, чтоб не запачкать платье. На пляже. Лежа рядом в песке, подперев щеки ладонями, оба они смотрят в объектив. У нее загорелое, ровное, почти без талии, сильное тело в узеньком лифчике и узеньких трусиках. И, наконец, в своем окне: он и жена выглядывают из-за тюлевой занавески. И тоже солнечный день, и она опять в этом белом платье, которое она несет на себе как символ чистоты, а лейтенант Ищенко с

сознанием человека, давшего ей все это, заложил руку за портупею.

— Вот здесь, — сказал Ищенко, показывая пальцем за рамку фотографии, — здесь жил командир полка, полковник, товарищ Сметанин. Через стену от нас. Правда, в другом подъезде.

Он всегда это говорил, когда показывал фотографии. И еще он охотно и подробно рассказывал, как он любил свою жену и как все ей покупал.

Военврач взяла одну карточку в руки. И когда она, в погонах, сапогах и портупее, глянула при свете керосиновой лампы на молодую женщину в окне, что-то грустное, как тень сожаления, промелькнуло в ее лице. Но она тут же отдала карточку, и лицо ее приняло насмешливое выражение, какое бывало у нее, когда за ней ухаживали. А на фронте за ней ухаживали всегда.

— От це було життя! — сказала хозяйка, стоя за спинами и тоже глядя на фотокарточки. — Боже ж мий, та невже ж правду було таке життя?

Васич посмотрел на нее. Сколько раз он слышал, как вот так вспоминали о прошлой, довоенной жизни. И хотя не все тогда было хорошо и не всего хватало, вспоминали о ней сейчас как о великом счастье. Потому что был мир и все были вместе.

Пригнувшись в двери, влез в хату старшина дивизиона, гаркнул простуженным голосом:

— Товарищ майор, старшина Иванов прибыл по вашему приказанию!

Мальчик испуганно вздрогнул, и плечи его затряслись, словно он всхлипывал.

— А кто тебе приказывал? — откинувшись на стуле, поверх погона глядя назад на старшину, удивился Ушаков.

— Ну, голос у тебя, старшина! — сказал Васич недовольно и погладил рукой худые лопатки мальчика. — Орешь, как на кавалерийском смотре. Ты ж в хате.

А хозяйка, оправдывая мальчика перед людьми, говорила:

— Ляканый вин у нас. Туточки немець стояв у хати. Ладний такой з себе, лаявся все, чому потолок низький? И не сказати, щоб лютий був. Другие знаете яки булы! А цей — ни. Суворий тильки. Порядок любив. А воно ж мале, дурне, исты хоче. И, як на грих, взяло со стола кусок хлиба. Привык шо в своей хате взять можно. А немець поймав його. «Вор! — каже. — Вор! Нельзя красы, просить треба». С того часу сяде за стил, покличе його, як цуценя, дасть хлиба. И все учить, учить, пальцем о так погрозуе. Йому б «данке» сказать, а воно с переляку уси слова позабуло, мовчить тильки. А немець гнивається. Поставить його вон туда в угол, пистолет наводит. «Пу!» — каже. Воно и заикаться стало. Уж я ховала його. Немець на мене ногами топоче: «Мамка! Сына мне гиб! Гиб! Воспитывай!»

Она рассказывала просто, почти спокойно. Столько было пережито, что об этом можно было рассказывать. Только по щекам сами собой привычно текли слезы. И, видя их, мальчик волновался, что-то хотел сказать, но у него сильно вздрагивала грудь и западало под ключицами.

— Вы не напоминайте ему, — остановила ее военврач, жмурясь от жалости. — Видите, он волнуется.

— Чого нагадувать, такого не забудешь.

И, уже выходя в дверь вместе со старшиной, Васич слышал, как она говорила:

— Вы як пишли до бани, вин все шинели ваши нюхав. Мале ще, батька плохо помнить, а запах ридний не забыл с того часу, як батько на фронт йшов, до дому забигав попрощатись...

В темноте сеней, где сильно пахло жареным бараньим мясом, Васич сказал, плохо различая лицо старшины:

— Вот что, старшина, это я тебя вызывал: сапоги надо найти, поменьше какие-нибудь. Есть у нас?

— Кто их знает... Может, есть бывшие в употреблении. Сорок третий размер...

Старшина рукой потирал подбородок, в глаза не глядел. Из осторожности он всегда вначале бывал непонятлив.

— Думай, что говоришь, старшина! Ты же умный человек.

— Сапоги-то? — уже другим, осмысленным голосом переспросил старшина, поняв, что речь идет не о военвраче, которая сидела с ними за столом, а о мальчике. — Сапоги должны быть. Там для мальчика и одежонки кой-какой найти можно. Если поискать...

— Поищи, — сказал Васич убедительно. — И пришлешь. Лучше, когда уходить будем.

На столе Ищенко аккуратно складывал фотографии. Мальчик держал в руках недоконченную игрушку, встретил Васича ожидающим взглядом. Васич сел, и они вместе продолжали вырезать. У него в самом деле что-то получилось: парнишкой он научился этому у отца. С тех пор как живет человечество, сын учится от отца, перенимает каждый его шаг и гордится, становясь похожим на него... Между сапогами Васича стоял на глиняном полу босой мальчик, солдатский сын, и Васич осторожно касался коленями его худого тела. Где сейчас его отец, по каким дорогам идет с винтовкой? А может, уже и нет его в живых? Волна нежности затопила вдруг Васича. Такая сильная, что глазам стало горячо, и у него задрожали руки, державшие нож. Но он справился с собой: мальчик смотрел на его руки.

Кто-то в сенях пытался с той стороны открыть дверь. Видимо, Баградзе. Хозяйка поспешила помочь, и через порог, чуть не сбив ее, шагнул солдат в заметенных снегом, каменных от мороза валенках, в опущенной и завязанной ушанке. Ослепленными после темноты ярким светом лампы глазами он обежал хату, увидел командира дивизиона и, приложив одну рукавицу к ушанке, другой рукой выдернул из-за борта шинели пакет. Ушаков читал стоя, а все смотрели на него и на солдата и уже знали, что отдых окончен. На валенках солдата таял снег.

В открытую дверь вошел Баградзе, торжественно неся перед собой в поднятых руках доску и на ней жаренное куском, блестящее от растоп-

ленного жира, сильно пахнущее баранье мясо. Он поставил его посреди стола и скромно отступил на шаг. Но никто, кроме мальчика и солдата, пришедшего с мороза, на это мясо сейчас не смотрел.

Ушаков положил приказ на стол, обернулся к солдату:

— Командиров батарей, командиров взводов — ко мне!

Хлопнула дверь за связным. Твердой рукой Ушаков налил из фляжки в четыре стакана, все еще не говоря никому, что в приказе. Увидел хозяйку — и ей тоже налил.

— Выпейте с нами посошок на дорогу, — сказал он, подавая ей стакан. И усмехнулся. Он усмехнулся над самим собой, что понадеялся обмануть судьбу. Знал же он по собственному опыту, что приказ сняться с позиций приходит в тот момент, когда наконец закончена землянка и впервые затопили в ней печь. Ну что ж, попарились в баньке — и на том спасибо! Это тоже не перед каждым боем случается. Нет, он не жаловался на свою судьбу. Он солдат. Он выбрал ее добровольно. И он гордился ею.

И, чокаясь с военврачом, Ушаков, не хитря и ничего не скрывая, с откровенным сожалением посмотрел в глаза ей. И она ответила ему таким же взглядом.

— Ну, чтоб дома не журились!

Они выпили стоя, а мальчик снизу смотрел на них, и в детских глазах его была взрослая тревога.

Ушаков стряхнул капли на пол, поставил стакан. Потом через стол кинул пакет Васичу.

— Читай!

И уже другими, чужими глазами оглядел дом, в котором пробыли они недолго.

Глава 2

Поднятые по тревоге люди выскакивали с оружием на мороз, застегиваясь на ходу. В селе кричали:

— Пер-рвая ба-таряя!

— Огневики третьей!

— Филимонов, Филимонов! Заводи, так твою так!..

— Р-равняйсь!..

Трещал где-то плетень. Ржала лошадь. Испуганные, наскоро одетые жители стояли у домов. Дети жались к матерям. Мимо них, бухая сапогами, отовсюду бежали вооруженные бойцы.

В одной улице уже строились. Поднятые со сна и теперь сразу продрогшие на морозе, люди туже затягивали ремни, стучаясь друг о друга оружием, нервно зевали. Ветер выдувал из шинелей остатки тепла.

За спинами строящихся бегал с жалкими глазами молодой боец в хлюпающих сапогах.

— Ребята, портянки мои кто взял?.. Портянки за печку вешал...

И тут наткнулся на старшину. Старшина со всей верой в порядок строил батарею. И вдруг

увидел человека, который это построение нарушал.

— Опять ты, Родионов? — спросил он зловеще и тихо.

И Родионов, ни в чем ни разу не замеченный, покорно принял это «опять», поскольку в такую минуту был без портянок.

Бухнул близкий винтовочный выстрел. Цепочка трассирующих пуль беззвучно потянулась к звездам, в немую высь. После донесся треск автоматной очереди. Несколько бойцов, остановившись на бегу, глянули вверх и побежали еще быстрее.

Как всегда в таких случаях, оказалось, что не одних портянок Родионова не хватает в дивизионе. Почти одновременно с Васичем к Ушакову подбежал командир второй батареи Кривошеин. Не отрывая пальцев от края ушанки, вытягиваясь тем старательней, чем более виноватым себя чувствовал, начал докладывать, что трактор, у которого разобрали мотор, — это его трактор, и больше тракторов в батарее нет, и пушку тянуть нечем. К тому же у пушки сломана стрела, а командир огневого взвода отравился консервами. Словом, получалось, что сам он готов выступить хоть сейчас, но батарея его раньше утра выступить не может.

Ушаков, маленький, в кавалерийской шинели до пят, которая должна была делать его выше ростом, туго затянутый ремнями, в круглой кубанке, коренастый, стоял на снегу рядом со своей короткой тенью, снизу вверх, щурясь, смотрел на командира батареи. По опыту он давно знал несложную исти-

Ну: если все неполадки, нехватки и недоделки, начиная от пропавших портянок солдата, собрать вместе и выложить командиру, то выяснится вдруг, что при таком положении воевать нельзя. Однако воевали.

Со стороны Васичу интересно было наблюдать за ними обоими. Командиру батареи, видимо, даже в голову не приходило сейчас, что по годам он лет на десять старше Ушакова. Все свои беды, всю ответственность он с рук на руки охотно передавал ему.

— Видал артиллериста? — Ушаков недобро повеселел. — Дай ему платок слезы утереть. Стоит в таком виде перед командиром дивизиона. Интеллигенция!..

— Между прочим, — сказал Васич, — ты тоже интеллигенция. По всем штатным расписаниям. Тем более артиллерийский офицер.

— Брось, брось! — Ушаков погрозил ему шерстяным, в перчатке, коротким пальцем. — Артиллерист, не отрекаюсь. А это ты брось! Ты мне давно эту статью припать хочешь.

Васич заметил благодарный взгляд Кривошеина. Тот, кажется, принял его слова в защиту себе. И это было неприятно, как неприятен был ему сейчас сам этот человек, в трудную минуту пришедший просить снисхождения.

Мимо пробежал тракторист третьей батареи разогревать трактор. В поднятой руке его, на палке, обмотанной тряпьем, металось красное с черной копотью пламя солярки, горящие капли падали в снег. И оружие и лица бойцов попадав-

шихся навстречу, тревожно освещались этим светом.

— Ты что пришел, собственно? Пожалеть тебя? Сказать немцам, мол, обождите воевать, командир второй батареи не собрался?

Маленькие глаза Ушакова блестели презрительно. Он отвернул рукав шинели, коротко глянул на часы, забранные круглой решеткой.

— Десять минут сроку! Ясно?

Командир второй батареи молча козырнул.

Толпой, что-то жуя на ходу, прошли разведчики. Все без шинелей, в ватниках, со стереотрубами, биноклями, у каждого под рукой дулом книзу — автомат. И с ними, на голову выше всех, начальник разведки дивизиона капитан Мостовой. Бесшумные и ловкие, привыкшие в любой обстановке полагаться на себя и на свой автомат, они раньше всех снялись и уходили вперед.

А уже дрожала земля под ногами: по улице двигалось орудие с трактором. Рядом с гусеницей бежал сержант, что-то крича и показывая трактористу, но голоса его за рокотом мотора не было слышно.

С лязгом, грохотом, облавая теплом, прошел второй трактор. За орудием спешили огневики, взволнованные и сосредоточенные. Под взглядом командира дивизиона они убыстряли шаг. Один из бойцов с узлом под мышкой, из которого торчали подошвы сапог, отделился, хотел было пробежать в дом, но замешкался при виде майора.

— Это что такое? — спросил Ушаков, заметив сапоги. Но Васич сказал:

— Ничего. Пускай. Я приказал.

И боец прошмыгнул. Навстречу ему с крыльца, придерживая на груди распахнутую шинель, сбежала военврач:

— Уходите?

Ушаков повернулся к ней всем туловищем.

— Такая наша служба! — сказал он с веселым и каким-то особенным выражением, блестя глазами, потому что за спиной его в это время проходил дивизион. И вдруг позвал, как в песне поется: — Едем, Галю, с нами, с нами, с козаками!..

Она засмеялась и под взглядами проходивших мимо солдат ответила в тон ему:

— А коня дадите?

— Двух дадим!

— Поехала б, да нельзя: служба!

И хотя ничего особенного не было сказано, солдаты, спешившие мимо, почему-то улыбались и глядели молодцевато.

По закаменевшей грязи тархтели уже колеса повозок, когда вдруг низко просвистело и за домами с грохотом, сотрясая землю, четыре раза взлетело рваное пламя. Все обернулись в ту сторону. И тогда военврач совсем по-бабьи, по-сестрински притянула к себе Ушакова — он был ниже ее ростом:

— Дай я тебя поцелую!

Она крепко поцеловала его при всех.

— И вовсе я не Галя, а Варя, только теперь это уже неважно. Дайте ж я и вас поцелую.

И Васича она тоже поцеловала. От ее непросохших, коротко постриженных волос пахло на

морозе земляничным мылом. Васич еще долго чувствовал этот запах.

За селом они догнали дивизион. Он медленно двигался, растянувшись по снежной дороге, — темные пушки, темные, цепочкой люди. Ветер, незаметный среди домов, в открытом поле был силен, он косо сдувал снег, заматая пушки в чехлах, и люди на ходу отворачивались от ветра. И вскоре за снегом и ветром пропало из глаз село, словно опустилось за холм вместе с заметенными крышами и верхушками тополей. Только холодная луна светила сверху и двигалась вместе с ними в голую снежную равнину.

Глава 3

«Дайте ж я и вас поцелую»...

— Дай я тебя поцелую!

Став на носки, она горячими ладонями взяла его за щеки, притянула к себе.

— Боже, какой ты огромный! Я, кажется, никогда не привыкну. И лицо огромное. Как у волка.

С шапкой в руке, в шинели, подпоясанный, Васич стоял перед ней, сутулясь от неловкости и от своего большого роста.

— И пахнет от тебя сапогами и кожей...

Он увидел у нее слезы в глазах. Она отвернулась.

— Мать моя провожала отца на фронт, когда меня еще не было. И вот я тебя провожаю. Не-

ужели это всегда так, из поколения в поколение?

Она стояла лицом к окну, маленькая, смуглая, в своем белом халатике, сунув руки в карманы, такая родная, что у него сдавило сердце.

В дверь заглянула операционная сестра с завязанной щекой: у нее был флюс.

— Дина Яковлевна...

Она повернулась от окна, глаза были уже сухие, только сильнее обычного горели щеки. Отогнув завязанный рукав халатика, сняла с руки часы, положила на стеклянный столик.

— У меня сейчас операция. На двадцать минут. Ты сиди, жди здесь. Потом я провожу тебя.

Он не решился ничего сказать ей, чтоб не волновать перед операцией. В маленьком, сильно заставленном кабинете тылового госпиталя, среди стекла, никеля, белой масляной краски, — от белого снежного света из окна все это сверкало холодной чистотой — Васич осторожно сидел на краешке стула, держа шапку на колене. Ему хотелось курить, но он не решался здесь и так и сидел все двадцать минут, почти не меняя положения, а рядом с ним на стекле тикали ее часы.

Потом быстро вошла Дина, — Васич сразу же встал, — возбужденная, немного побледневшая, пахнущая лекарствами и спиртом, повернулась к нему спиной.

— Развяжи!

А сама уже стягивала рукава халата.

— Дина! — сказал он, со всей убедительностью прижимая шапку к сердцу, потому что хорошо

знал ее характер, и на лицо его сейчас было жалко смотреть со стороны. — Понимаешь...

За окном было сорок градусов мороза. И до станции — три километра полем. Мысленно он видел, как она возвращается одна полем по такому морозу.

— Я понимаю, — сказала она. — Развяжи!

Он покорно начал развязывать, надеясь только на чудо. И чудо в образе операционной сестры с флюсом заглянуло в дверь.

— Дина Яковлевна!..

Ей пришлось опять идти делать срочную операцию, а он остался ждать.

— Дай слово, что ты будешь ждать!

Он дал слово и сидел, мучаясь, слушая тиканье часиков на стекле. За окном остановилась крытая грузовая машина. Выписанные из госпиталя солдаты прыгали в кузов, кидая через борт вещмешки. В дверь ворвался начхоз с обалделыми глазами, в халате поверх шинели:

— Товарищ капитан! Что ж вы делаете? Я бегаю, бегаю, ищу, ищу... -

— Тихо! — сказал Васич. — Тихо, тихо!

На клочке бумаги он написал коротенькую записку: «Дина! Понимаешь, машина пришла, я ничего не мог сделать. Все равно дальние проводы — лишние слезы. Ты только не обижайся».

Хотел приписать главное, глянул на дверь, подумал, что сестра с флюсом может первой прочесть это, и ничего больше не написал. Положил на записку часы и на носках вышел тихонько...

И вот уже год, как он осторожно притворил за

собой ту дверь. Была тогда зима, уральская зима. И вот опять зима, но только на Украине. Метет поземка по сапогам, по колесам идущих впереди пушек. Горбятся на ходу солдаты в шинелях, с вещмешками на спинах, с торчащими над погонями вверх заиндевелыми дулами карабинов. Сквозь облака — луна мутным пятном, ветер по целине и дымящаяся на всем пространстве снежная равнина.

Сколько тысяч километров снегов отсюда до Урала разделило их?

Она любила спать сжавшись. Сожмется вся, подберет колени к подбородку и вот так спит. Наверное, оттого, что ночью комната быстро выстывала и она во сне мерзла под суконным солдатским одеялом.

Маленькая, сжавшаяся в комочек, она лежала сейчас в его сердце, и ему тепло было ее нести сквозь вьюжную зимнюю ночь.

— Комиссар! Ты чего улыбаешься? Спишь?

Под корявым деревом, росшим у обочины, заложив руки за спину, стоял Ушаков.

— Идет, улыбается... Сон, что ли, приснился? — говорил он, пока Васич шел к нему.

— Похоже на сон...

Чувствовал он себя сейчас перед Ушаковым неловко. Словно в чем-то был богаче его и стеснялся этого.

— Погода-то, а? — сказал он. — Вышли — луна светила. А вон, гляди, как все небо заволокло.

— Очень точное замечание, — не без насмешки ответил Ушаков. — Как его, по части стратегии понимать или оно больше к вопросам тактики от-

носятся? Ты, кстати, по карте не интересовался, сколько до фронта осталось? И чего они там молчат, не стреляют? Перерыв на обед или война кончилась?

Васич ласково смотрел на него. Он хорошо знал Ушакова, но сам он сейчас никакой тревоги не чувствовал и потому состояния его не понимал.

— Слушай, — сказал он, просто желая сделать Ушакову приятное. — Давай-ка я, правда, с разведчиками вперед схожу, погляжу, чего там.

Холмы, холмы, холмы... Бездомный свист поземки по буграм, темное низкое небо, ближний лес, как эхо, гудит под напором ветра.

Сквозь летящий снег они втроем шли от леса. Васич глянул на Мостового, глянул на разведчика со странной фамилией Халатура: заметенные шинели, шапки белы, лица, нахлестанные ветром, горят. Мостовой вдруг сел на снег:

— Обожди, капитан, переобуться надо.

Пока он снимал сапог, Васич слезящимися от ветра глазами вглядывался в сторону передовой. Там, за холмом, как в дыму, изредка подымалось тусклое свечение. А когда ракета гасла, из снегов доносило грубый стук пулемета, стерегшего тишину. Повторенный лесом, он обрывался, и опять только поземка свистела над голой равниной. В самом деле, почему такая тишина? Васич нетерпеливо оглянулся на Мостового. Сидя на снегу, начальник разведки дивизиона с осторожностью разворачивал сбившуюся портянку, словно отди-

рал от раны. И тут Васич увидел его ногу. Она была обмороженная, распухшая, синяя.

— Где это ты? — спросил он, сморщась, как от боли.

Мостовой сухим концом портянки обернул ногу.

— А вот когда автоматчики прорвались... В валенках был, промокли, а тут же ж морозом схватило. Самая поганая обувь.

Покатые сильные плечи его шевелились под натянувшейся телогрейкой. И спина под телогрейкой была мускулистая. И кисти длинных рук мускулистые.

— Думал, завтра в санбат смотаться, пока вы тут воюете. Спиртику культурно попить, с сестрами за жизнь поразговаривать.

Он снизу весело подмигнул Васичу одним глазом; другой, с оторванным веком, оставался в это время все так же неподвижен и строг. Давний след пули, застарелый, неровно затянувшийся шрам рассек его левую половину лица от подбородка до перебитой, клочками торчащей вверх брови. И у Мостового было два лица: одно веселое, бесстрашное, молодое и другое — изуродованное лицо войны. Когда Мостовой хохотал, это лицо с оголенным глазом только морщилось, горько и умудренно.

— Вот тоже, — без особой связи, а просто потому, что думал об этом, заговорил Мостовой, — в сорок первом под Хомутовкой выходили мы из окружения. Слыхал Хомутовку? Ну, окружение окружением, а тут захотелось молочка холоднень-

кого попить. Взяли мы с сержантом Власенкой котелок — хороший был парень, после ему, когда прорывались, миной обе ноги оторвало — и по подсолнухам огородами в деревню. А немцев в деревне не было. Только мы кринку выпили, хозяйка за второй в подпол полезла — ребятам думали принести, — когда два немца на двери. И автоматы на нас наставили. Мы даже за оружие схватиться не успели. А жара была, я тебе говорю, мундиры на них мокрые от пота. Тоже, видно, шли молока попить... Сидим. А они стоят. Один молодой, другой постарше. Хозяйка сунулась было из погреба, увидела и крышку над собой захлопнула. Тогда немец, постарше который, сказал чего-то другому по-своему, подходит ко мне, взял за плечо и ведет к двери. А я иду. И вот скажи, как это получается, до сих пор понять не могу: немец мне этот до уха. Там его вместе с автоматом взять — делать нечего. И брал же я их после. А в тот раз иду послушно... Тем же манером выводит Власенку на крыльцо, показывает нам на лес: «Гей!» Иди, мол! Думали, в спину стрельнет. Ничего. Приходим к своим, рассказываем. А был у нас капитан Крохалев... Первый пээнша. Он еще до войны... лет десять... капитаном...

Мостовой, весь покраснев от усилия и боли, за уши натягивал сапог на распухшую ногу, говорил прерывисто. Сбоку стоял разведчик, готовый помочь, и каждое усилие Мостового отражалось на его лице.

— Так тот Крохалев услышал... приказал арестовать нас... за подрыв морального...

Нога проскочила наконец в сапог. Мостовой перевел дух, кровь медленно отливала от лица.

— Теперь пойдет, — говорил он, поднявшись и наступая на ногу с осторожностью. — Главное дело было впихнуть... Теперь разойдется... Вот что ты мне скажи, комиссар. Кончится война, ладно. Ну, в мировом масштабе дело ясное, кто тут прав, кто виноват, кому чего. А один человек, хоть этот немец, который нас отпустил? Как думаешь, смогут после войны с каждым разобраться? С каждым! Или он за эти годы такого наворочал на нашей земле, что про то забыть надо? А?

— Забывать ничего не надо, — сказал Васич. — Ты хлопчика видел в хате у нас? Тоже не надо забывать. Немец его учил не воровать, на всю жизнь заикой сделал. В его хату пришел, за его стол хозяином сел, его хлеб ест, а когда хлопчик с голоду к своему хлебу потянулся, — вор! Свой хлеб надо у немца просить, да еще «данке» сказать. Вот как. И кто честности учит? Фашист, который всю Европу ограбил, давно уже забыл, какого он вкуса свой, немецкий, хлеб!

— И то правильно, и другое не откинешь, — сказал Мостовой. — Вот я живой здесь стою, а мог бы давно в концлагерях сгнить. Немцы тоже разные, и один за другого отвечать не должен.

— Были б одинаковые, дело б легче решалось. Тут и думать бы нечего. Вся беда, что они разные — и хорошие и плохие, — объективно сейчас одно поганое дело сообща делают.

Для Васича разговор этот был трудный. Он был убежден, что никакой Гитлер за восемь лет

не сможет сделать со страной то, что сделал, если нет к тому подходящих социальных условий. Надо хорошенько взглянуть в прошлое Германии, чтобы понять, как на жирной почве воинствующего мещанства за крошечный срок, всего за восемь последних лет, пышно и зловеще расцвел фашизм. Но он сказал только:

— Вот он отпустил тебя. Может, не хотел свои руки пачкать кровью: все равно война кончается. Может, на самом деле честный человек. Но честный, самый честный немецкий солдат, который Гитлера ненавидит, нам победы желает, он же все равно идет против нас, стреляет в нас, Гитлеру добывает победу!

— То — так, — сказал Мостовой, и видно было, что какая-то своя мысль прочно засела в нем.

Если война, которой хлебнул он достаточно, раны, испятнившие его сплошь, не смогли разубедить и озлобить, слова не разубедят. Да Васич и не хотел разубеждать. Лучше эта крайность, чем другая.

Ветер, набегом хлынувший с холмов в ложину, закружился, взвихрил мчащийся снег, что-то мягко ударило Васича по ногам и метнулось, темное, в струях снега. Разведчик свистнул, кинулся следом и скрылся в белом вихре. Вернулся он, неся надетую на ствол автомата шапку-ушанку.

— Думал, заяц! — говорил он, запыхавшийся, довольный, что догнал.

Ушанка была нахолодавшая, забитая снегом, но внутри, где засаленная подкладка лоснилась, она хранила не выветренный на морозе запах го-

ловы хозяина — запах пота, волос и мыла. И две иголки с белой и защитного цвета нитками были воткнуты в ее дно. Васич и Мостовой, державший ушанку в руке, переглянулись. Потом все трое цепью пошли в сторону передовой, откуда ветер принес ее. Они шли медленно, вглядываясь в несущийся под ноги снег. Хромая, Мостовой нес в одной руке ушанку, в другой — автомат. И вскоре они увидели свеженаметенный холмик. Подошли ближе. Из-под снега виднелись плечи, непокрытая голова, насунувшийся на нее воротник шинели. Убитый лежал ничком, и руки были напряжены в последнем усилии, как будто он все еще полз, упираясь локтями, тащил по земле перебитое тело. Ветер гнал через него скользящие струи снега, шевелил мертвые волосы, и они были вытянуты в ту сторону, куда бежал человек, — к лесу.

Став на колени, разведчик перевернул убитого. Со спины пересекла его пулеметная очередь: в четырех местах на груди шинель вырвана клоками, лопнула перебитая портупея. Трое живых стояли над ним, держа в руках его ушанку с самодельной, вырезанной из консервной банки звездочкой. Васич прислушался. Из-за холма уже явственно доносился захлебывающийся на ветру, прерывистый рокот моторов: это подтягивался дивизион.

Трое двинулись дальше. Не пройдя и пятидесяти метров, нашли второго убитого. Он был раздавлен танком.

Васич, Мостовой и разведчик двинулись по заметенным следам танка и вскоре наткнулись на бронетранспортер. Он был подбит и стоял в низи-

не, в снегу, без гусеницы, сильно обметенный с наветренной стороны.

— Товарищ капитан, тут гильзы стреляные! Патронов до хрена! — кричал Халатура, успевший все облазить и теперь возившийся около счетверенного зенитного пулемета.

На передовой все так же редко постреливали и взлетали и гасли ракеты: там было тихо. А здесь, в тылу, в трех километрах от передовой, стоял недавно подбитый немцами бронетранспортер.

— Танковая разведка прошла, понял? — глухо сказал Мостовой, и изуродованная щека его дернулась несколько раз подряд. — Можем угодить между танками и разведкой...

Васич еще раз оглядел это место, и что-то похожее на тяжелое предчувствие шевельнулось в нем.

А с холма, перевалив его, стреляя в низкое небо искрами из выхлопной трубы, уже спускался первый трактор с орудием. На огромном пологом снежном склоне — маленький черный трактор, маленькое черное орудие и крошечные люди, радостно бегущие под уклон по бокам его, — все это приближалось сюда. И Васич с обнаженной ясностью увидел, как малочислен дивизион для такого боя с танками.

И вместе с этой отчетливой мыслью была другая, взволновавшая его. Он подумал вдруг, глянув на этих радостно бегущих по снежному склону людей, из скольких деревень, городов собрали их, сведя в крошечное подразделение войны: один из трех дивизионов тысяча триста восемнадцатого по

счета артиллерийского полка! Во скольких концах России слезами и болью отдастся каждый снаряд, который разорвется здесь сегодня!

Пять километров холмов было позади, и три еще оставалось до места. И на каждый из этих холмов по обдутому ветрами, обледенелому склону пушки тянули вверх лебедкой, вниз осторожно спускали на тормозах.

Светящаяся, зеленая, как волчий глаз, стрелка компаса указывала навстречу ветру: дуло с севера. Ушаков, носивший компас на руке как часы, обдернул рукав шинели, заложил руки за спину.

— Так что думает начальник штаба?

В длинной шинели, с биноклем на груди, Ушаков стоял на холме. Серая каракулевая кубанка с наветренной стороны была белой, снег набился в ворс шинели. «Спит и видит себя генералом», — подумал Ищенко неприязненно.

Мимо них, спеша покурить на ходу, проходили батарейцы, надвигался рокот последнего трактора, взявшего подъем.

— А мне везло, — говорил чей-то веселый голос. — Как зима — ранит! Отлеживаюсь в госпитале до тепла. Вот не пришлось в этот раз!

Другой пожаловался виноватой скороговоркой:

— Я, ребята, с себя рубашку постирал. Поначалу-то она с печи теплая показалась, а теперь облегла — не согреюсь никак.

— Он тебя согреет! — хохотнул в темноте прокуренный махорочный басок. — У него враз просохнешь!

Ушаков всем туловищем обернулся на голоса. Проходивший мимо командир второй батареи Кривошеин, заметив, что товарищ майор кого-то ищет, и понимая, что ищут, конечно, его, со всей старательностью, подсчитав ногу, козырнул, нарочно попадаясь на глаза. Обычно он сторонился командира дивизиона и не понимал его. В самые сильные морозы, когда портянка примерзает к подошве, Ушаков ходил вот в этих хромовых сапогах, в этой кубанке. Даже на уши ее не натянет. Самое крайнее, что мог позволить себе, — это потереть ухо перчаткой. Кривошеин был обыкновенный человек, и у него на морозе мерзли уши. И, между прочим, он не считал это таким уж большим преступлением.

Но после того стыдного случая, когда он прибежал сообщить, что батарея его не может выступить в срок, — он говорил тогда правду и тем не менее сейчас шел вместе со всеми, — Кривошеину хотелось загладить как-то неприятное впечатление о себе. И, проходя рядом с пушкой, в грохоте трактора чувствуя себя выше ростом и сильней, он приветствовал товарища майора. Ушаков отвернулся. Лицо у него было кислое. И в его лице, как в зеркале, командир второй батареи с безжалостной ясностью увидел себя таким, каким был на самом деле: немолодой уже, интеллигентный, неловкий человек в завязанной под подбородком ушанке, почему-то старающийся казаться строевиком. И то, как он, криво вздернув плечо, козырнул... Он чуть не застонал от стыда.

А Ушаков тут же забыл о нем. Среди забот,

одолевавших его, эта забота была не того сорта, чтоб он о ней помнил.

— Я не слышал, что думает начальник штаба? — повторил он, все так же держа руки за спиной.

Ветер хлестал полами его шинели по голенищам сапог.

— По имеющимся данным, — сказал Ищенко, — противник должен сейчас выходить в район Старой и Новой Тарасовки.

И против воли получилось это у него вопросительно. Ушаков почувствовал его неуверенность.

— Умный у меня начальник штаба! — восхитился он, глянув в глаза Ищенко. — Не боевой, правда, но зато голова!

Ему казалось, что раздражает его Ищенко, а раздражала его неясная обстановка и местность, невыгодная для него со всех сторон.

Он уже выслал вперед командира первой батареи и огневиков с кирками и лопатами рыть огневые позиции. Успеет он прийти туда раньше немцев, он сможет принять бой с танками, каким бы тяжелым этот бой ни был. Он сам выбрал эти позиции, на них можно было драться. Но если не успеет... Ушаков посмотрел вниз. Там, на другой стороне оврага, неуклюжий поезд — трактор и орудие, — одолев глубокий снег в низине, начал карабкаться сквозь метель по обледенелому местами склону, а собственная тяжесть влекла его вниз. Если танки настигнут их на походе, Ушаков даже не сможет открыть огонь, потому что вверх орудия тянут лебедками, вниз спускают на тормозах.

Непривычное состояние собственного бессилия раздражало его, и это раздражение он срывал на Ищенко.

— Ну, а еще какие у нас «имеющиеся данные»?

Он шевелил пальцами за спиной. Лицо его с маленькими глазами и толстыми губами было красно от ветра, насмешливо. Но, прежде чем Ищенко успел ответить, Ушаков увидел подымавшегося к ним Васича. Он, наверное, упал где-то и сейчас снятой с головы ушанкой на ходу оббивал с себя снег.

— Ну, а ты, комиссар, какую мысль толкнешь? — спросил Ушаков еще издали.

Васич подошел, тяжело дыша после подъема, обождал, пока пройдут солдаты, и тогда только сказал, понизив голос:

— Там, внизу, бронетранспортер подбитый.

— Чей бронетранспортер?

— Наш. Подбит недавно...

Ушаков внимательно посмотрел на него. Некоторое время в тишине слышен был отдалявшийся рокот трактора, тяжелое дыхание идущих мимо людей и свист ветра. И в этом свисте ветра за холмом, куда двигался дивизион, вспыхнула вдруг беспорядочная автоматная стрельба.

Глава 4

Первыми увидели немцев разведчики. Из нескошенного, засыпанного снегом пшеничного поля стали подниматься головы. Черной, колеблющейся на ходу, изломанной цепью они приближались

сквозь снег. Головы в касках... Плечи... Руки с автоматами. Все это подымалось из пшеницы по мере того, как немцы приближались.

Разведчиков вместе с Мостовым было четверо. Они лежали в замерзшей водомоине, разбросав ноги. Ждали. Потом их осталось трое: одного Мостовой послал назад предупредить дивизион.

Ветер дул от немцев, и напряженным ухом уже различимы были шаги и шуршание мертвых колосьев, сквозь которые они шли. А может, это казалось. Лежавший рядом с Мостовым разведчик то и дело хватал с земли снег сохнувшими губами. И оглядывался назад, где громко рокотали в низине тракторы.

Взлетевшая далеко ракета не поднялась над гребнем, только осветила край низкого неба, словно из-за туч. И на этом осветившемся небе хорошо и крупно стали видны с земли приближающиеся немцы. Они шли сюда на звук тракторов. Начав с левого фланга, Мостовой успел насчитать двенадцать голов, и свет погас. Он зубами стянул с правой руки перчатку, прижал к щеке холодный приклад автомата, повозившись, надежно упер локти. Немцы приближались — черные, наклоненные вперед тени, по мушке смещаясь вправо. Одни сдвигались с нее, другие всходили на мушку.

А в это время на середине подъема трактор лебедкой тянул снизу пушку. На гусенице его сидел на корточках тракторист Никитенко в черных от солянки и масла подшитых валенках. У ради-

атора грел руки солдат, беспокойно оглядываясь. Оказался он тут по той самой причине, по какой во время боя обязательно кто-нибудь окажется возле кухни. Боясь, что его прогонят, он всячески старался услужить трактористу. Заметил, что тот хочет прикурить, — поспешно достал из кармана «Катюшу», высек искры и, раздув шнур, поднес к папироске. Одновременно рассказывал, крича, как глухому, потому что работал мотор, и трактор и Никитенко, сидевший на гусенице, мелко дрожали.

— Это заспорили немец с русским: чья техника сильнее? Чья лучше, говорю?.. Вот немец достает зажигалку. Щелк! — и подносит прикурить. А наш русский дунул в нее — только дымом завоняло. «Теперь, говорит, погаси ты мою». Достал из кармана «Катюшу», высек огонь. Уж немец дул-дул, дул-надувался, она только ярче разгорается.

И он помахал в темноте ярко тлевшим шнуром.

— Брось огонь!

Разведчик в ватнике, с автоматом на шее, неслышно появившийся перед ними, ударил его по руке, сапогом втоптал огонь в снег. Тракторист сам поспешно примял папироску в пальцах.

— Бешеный, ей-богу бешеный, — обиженно говорил солдат, ползая по снегу на коленях, отыскивая все свое раскиданное имущество. Он наконец нашел и кремень, и кусок напильника, и шнур в патронной гильзе, вымокший в снегу. С сожалением

нием отряхивая его, погрозился в ту сторону, куда ушел разведчик:

— «Брось!..» Связываться не хотелось, а то б я тебя, такого храброго!..

И тут оба, и солдат и тракторист, услышали близкую автоматную очередь. Тракторист поднялся во весь рост на гусенице, пытаясь понять, откуда это. Когда он оглянулся, солдат исчез.

А еще ниже, на другом конце троса, толкали в это время орудие. Облепив его со всех сторон, крича охрипшими голосами, с напряженными от усилия, зверскими лицами, упираясь дрожащими ногами в землю, батарейцы толкали орудие вверх — руками, плечами, грудью. Под напором ног земля медленно отъезжала вниз. Шаг... Шаг... Шаг... Медленно, с усилием поворачивается огромное, облепленное снегом колесо пушки. Оскаленные рты, горячее, прерывистое дыхание, пот заливает глаза, щиплет растрескавшиеся губы. От крови, давящей на уши, рокот мотора наверху гложет, гложет, отдаляется. Тяжелые толчки в висках... Сердце пухнет, распирает грудь... И нет воздуха!.. А ноги все упираются и переступают в общем усилии.

— Пошло! Пошло! Само пошло! — кричит командир второй батареи Кривошеин. Ему жарко. Он связал ушанку, одной рукой упирается в щит орудия, другой призывно машет. Ему кажется, что жесты его, голос возбуждают людей, и он сам возбуждается от своего голоса. В этот момент он

не думает ни о немцах, ни о предстоящем бое. Все мысли его, все душевные усилия сосредоточены на одном: вытянуть наверх пушку. Шаг, еще, еще один шаг!..

...Мостовой задержал на мушке высокого немца — тот шел в цепи озираясь, повел ствол автомата с ним вместе. Палец плавно нажимал на спуск, проходя тот отмеренный срок, который еще оставалось жить немцу. У самой черты он задержался: чем-то этот немец напомнил Мостовому того пожилого немца, который в сорок первом году застиг их с Власенкой в хате и отпустил. За это короткое мгновение, что он колебался, высокий немец сдвинулся вправо, а на мушку взошел другой, поменьше ростом, в глубокой каске, сидевшей у него почти на плечах. Палец нажал спуск.

На батарее увидели бегущего сверху от трактора солдата; он что-то кричал и махал руками, словно хотел остановить батарею. Вдруг он упал. И сейчас же по станине со звоном сыпанул железный горох. Один из солдат, толкавших пушку, тоже упал и отъехал вниз вместе с землей, по которой, упираясь в общем усилия, продолжали переступать ноги батарейцев. Но ударил сверху трассирующими пулемет, и люди отхлынули за пушку, не слыша, что кричит им командир батареи. Попадав в снег, срывая с себя карабины, они клацали затворами, озирались, не понимая, откуда стреляют по ним. Наверху, надрываясь, рокотал трактор, дрожал натянутый трос, и пушка

еле-еле ползла вверх, гребла снег колесами. Опять ударил сверху пулемет. Солдат, бежавший от трактора, переждав, вскочил и побежал. И еще несколько человек сорвались и побежали.

— А ну стой!.. Стой!.. Стой, кто бежит!..

Снизу, хмураясь, с прутиком в руке шел Ушаков. Среди тех, кто бежал от пушки, и тех, кто бежал навстречу им, чтобы остановить, он один шел своим обычным шагом. И, по мере того как он проходил, люди подымались из снега, облепляли пушку, которую до этого момента толкал один командир батареи.

Похлестывая себя прутиком по голенищу сапога, Ушаков прошел мимо орудия, словно заговоренный, навстречу трассирующим очередям, единственный из всех, очевидно, знавший в этот момент, что делать.

Но и он в этот момент тоже еще не знал, что надо делать, и потому шел властно уверенный в себе, холодный, собранный, похлестывал прутиком по голенищу: множество глаз смотрело на него, он чувствовал их.

С того времени, как Ушаков услышал стрельбу, он понял, что самое страшное, чего он боялся, случилось: танки настигли дивизион. И настигли его здесь, в ложине, когда две пушки висят на тросах, а третью трактор тянет по глубокому снегу. Спустить пушки вниз, занять круговую оборону? Танки обойдут их и с короткой дистанции, прикрываясь холмами, расстреляют тяжелые, малоподвижные орудия, стоящие открыто. И Ушаков

впервые пожалел, что часть батарейцев с одним командиром батареи отправил вперед рыть оружейные окопы. Он поступил правильно: иначе он не успел бы в срок занять огневые позиции. Но сейчас эти люди нужны были ему здесь.

Ушаков не был суеверен. Но когда он увидел подбитый бронетранспортер, место это показалось ему дурным. И на него неприятно подействовало, что именно здесь немецкие танки настигли дивизион.

Пулеметная очередь ветром тронула кубанку на его голове. Ушаков поправил ее рукой. Но когда поднялся над гребнем оврага, пришлось лечь: над полем сквозь дым поземки неслась огненная метель, и снег под нею освещался мгновенно и ярко. Это в хлебах безостановочно работали два пулемета, и множество автоматов светящимися нитями прошивали ночь.

Лежа за гребнем оврага, как за бруствером, Ушаков вглядывался в темноту трезвыми глазами. С остановившегося, смутно маячившего бронетранспортера прыгали в пшеницу немцы, рассыпались по ней, стреляя из автоматов. Несколько над землей срезали короткие очереди. «Мостовой!» — понял Ушаков. И сейчас же вся масса огня, сверкавшего над полем, дрогнула, метнулась туда, откуда стреляли разведчики. Трассы пуль остро врезались в землю, шли по ней; оттуда никто не отвечал. И Ушаков догадался: немцы растеряны. Они напоролась на разведчиков, они слышат из оврага рокот моторов и, ошестинясь огнем, стреляя изо всех автоматов, ждут в хлебах, пока по-

дойдут танки, выигрывают время. Даром отдают это время ему. «Эх, лопухи, лопухи!» — быстро подумал он, заражаясь азартом боя, снова веря в свою счастливую звезду. Он оглянулся. Баградзе лежал рядом. Притянув его к себе за борт шинели, врезая свой взгляд в его синевато мерцавшие в темноте, косившие от волнения глаза, Ушаков говорил:

— Передашь комбатам: орудия отводить к лесу. К лесу! Ищенку найди. Он поведет.

Баградзе, беззвучно шевеля губами, повторял как загипнотизированный:

— Взвода управления ко мне! С гранатами! Ясно? Беги! Автомат дай сюда!

И, взяв автомат ординарца, Ушаков выглянул из-за гребня. Там, где, не видимые отсюда, лежали разведчики, мелькнуло над землей что-то темное и быстрое. Упало. Еще один вскочил под огнем, быстро-быстро перебирая ногами, вжав голову в плечи. Брызнувшая из темноты под ноги ему пулеметная струя смела его, Ушаков дал очередь. Туда, где билось короткое пламя пулемета. Он слал очередь за очередью, прикрывая отход разведчиков, вызывая огонь на себя. И вскрикивал всякий раз, когда перебежавший немец падал под его огнем.

Потом он услышал дыхание и голоса множества людей, лезших к нему снизу. Оглянулся между выстрелами. Васич со взводом спешил сюда.

— Диск! — крикнул Ушаков.

Чья-то рука, заросшая черными волосами, страшно знакомая рука подала диск. Ушаков вбил

его ладонью. Низко по гребню, задымив снежком, резанула пулеметная очередь. Несколько голов пригнулось. Ушаков увидел Васича близко — потное, влажно блестящее при вспышках лицо. Он говорил что-то. Ушаков не разбирал слов. Оборвав Васича, показал рукой на поле:

— Гляди! Лошинку видишь? Поперек поля?

Он кричал так, что вены напряглись на шее. Васич увидел лошинку. Она шла параллельно немцам, преграждала им путь к дивизиону. И он понял план Ушакова.

— Туда?

Ушаков кивнул. Крепко взял его за плечи:

— Задержишь танки! Гранатами, зубами, чем хочешь! Не отходить, пока не отойдут орудия! Ясно? Беги! Пять человек оставишь со мной!

Васич поднялся со снега. До лошинки метров десять открытого места. Он вглядывался в него. Потом загреб к себе воздух рукой и первый, пригибаясь, в длинной шинели, перебежал этот кусочек поля. Хлестнула запоздалая очередь. Пустота. Голый снег. Пулей проскочил по нему солдат и скрылся.

— Огонь! — крикнул Ушаков.

Пятеро, они прикрывали огнем взвод. Солдат за солдатом — согнувшиеся тени — мелькали на виду и скрывались в лошинке.

Оторвавшись от автомата, Ушаков глянул назад. Две пушки еще спускали на тросах, и только третью тянул внизу трактор. Медленно! Медленно!

— Товарищ майор! Товарищ майор!

Баградзе совал ему в руки автоматный диск.

У немцев в пшенице сверкнуло, и сейчас же знакомо и низко завыло над полем.

— Ищенко где?

— Начальник штаба сказал: абэспечу отход!— яростно сверкая глазами, кричал Баградзе.

Вой мины был уже нестерпимо близким, гнул к земле.

— Беги назад! Скажи Ищенко: быстрее! Как мертвые там! Быстрее! Пока танков нет!

Он слышал, как вместе с осыпавшейся землей покатился вниз Баградзе. Оборвался, повиснув, вой мины. Тишина... И — грохот разрыва. Блеснувший в глаза огонь. Вместе с грохотом разрыва кто-то большой, дышащий с хрипом, упал рядом с Ушаковым. Они поднялись одновременно. Голубев! Командир взвода управления третьей батареи. Сосредоточенное, по-молодому взволнованное лицо. Расстегнутая, бурая от ветра могучая шея.

— Товарищ майор! — пришепетывая, докладывал Голубев, задохнувшийся от быстрого бега. — Прибыл... со взводом.

— По одному! — Ушаков ткнул в сторону лощинки. — Давай!

Новая мина уже выла над головой. Голубев вскочил. В левой руке — маленький при его огромном росте ручной пулемет. Ушаков жадно глянул на него. Он еще ничего не успел сказать, как Голубев понял сам.

— Возьмите, товарищ майор! — говорил он, по-мальчишески радуясь возможности отдать то, что самому дорого. — У ребят еще есть!

«Врет, — подумал Ушаков, и ему приятно было сейчас смотреть на этого здорового и, видно, боевого парня. — А молодец!»

Внизу двое солдат, согнувшись, бегом пронесли длинное противотанковое ружье. Они одновременно присели от близкого разрыва, потом побежали еще быстрее.

Голубев выхватил из кобуры пистолет, махнул взводу:

— За мно-ой!..

Голос его заглушил разрыв мины.

Устанавливая подсошки пулемета, Ушаков видел, как Голубев бежал огромными прыжками. И со злой яростью, со сладким мстительным чувством он дал из пулемета длинную очередь по немцам.

За вспышками пламени, бившегося на конце ствола, коротко освещавшего темноту, он не сразу увидел танки. Раньше он услышал, почувствовал их. Стала вдруг смолкать ружейная и автоматная стрельба, становилось тихо, и вскоре только железное лязганье и рычание властвовали над полем. Сквозь дым поземки танки ворочались в нескошенной высокой пшенице.

Ушаков схватил пулемет, крикнул пятерым: «Не отставать!» — и они, маскируясь за гребнем, побежали вперед, во фланг немцам.

Уже у самой лошинки пуля догнала Мостового. Он спрыгнул вниз, рывком расстегнул широкий ремень с пистолетом и гранатами, висевшими на

нем, скинул телогрейку, шапку сунул на бруствер. Ее сейчас же сбило оттуда: над головой немцы сыпали из автоматов светящимися пулями. Он усмехнулся невеселой мысли: а что, если ранила его пуля того самого немца, которого он, подержав на мушке, отпустил живым?

Здоровой рукой Мостовой стянул с себя гимнастерку, еле пролезшую через его широкие плечи. Левый рукав бязевой рубашки, черный от крови, лип к руке. Торопясь, пока немцы не пошли, он стащил рубашку через голову. Из маленькой пулевой ранки толчками выбивало кровь. Он понял: перебита артерия. Кровь текла по руке, капала с локтя. Сидя на земле, он поддерживал раненую руку. От его потного, мускулистого, голого по пояс тела на морозе шел пар. Разведчик изо всех сил перетягивал ему жгутом руку у плеча, чтоб остановить кровь.

— Сильней! Сильней! — просил Мостовой, а сам краем глаза наблюдал за полем. Он увидел, как в хлебах зашевелились танки. Заметенные снегом, они двинулись, смутно различимые сквозь поземку. Они шли, ощупывая впереди себя землю пулеметным огнем. Близкая очередь рубанула по краю лоштинки.

— Быстрее! — крикнул Мостовой, а сам уже надевал на одну руку телогрейку, тянулся к противотанковому ружью.

Танки шли, властно подминая все звуки боя. У переднего огнем сверкнула пушка. Тугой, горячий звон ударил Мостовому в голову, и к горлу подкатила тошнота, рот наполнился слюной. На

минуту в дыму разрыва он потерял танк. И сейчас же опять увидел его.

В лоштинке все время переползали, лезли по ногам. Не отрываясь, Мостовой вел за танком ствол длинного ружья. Нажал спуск. Вместе с сильным толчком в плечо увидел, как по башне танка чиркнул синий сернистый огонек и пуля косо ушла вверх. Он выстрелил еще раз, и опять на танке сверкнул длинный синий огонь. Пули чиркали по броне, как спички о коробку, и косо уносились вверх, догорая на лету.

Мельком Мостовой увидел свою левую руку. И удивился, что она не чувствует холода. Он упирался в снег голым локтем и не чувствовал холода. Он вообще не чувствовал руку. Но она крепко держала ружье, и он успокоился.

А танк несся на него вместе с белой метелью, она кутала его гусеницы, и оттуда, из метели, остро и косо вылетали огненные трассы пуль. Что-то крикнул разведчик. Чего он кричит? В одной только телогрейке на голом теле Мостовой обливался потом. Или это снег таял на груди? Приклад ударил его в плечо.

— Патрон!

Как чужую, Мостовой увидел на снегу свою кровь. Странно, что ее так много. Весь снег, где он упирался локтем, был черным от крови. От его крови. Но боли не было, и рука держала ружье.

Какие-то голоса кричали около него. Он слышал их сквозь звон в ушах. Близкая пулеметная очередь огненной плетью хлестнула перед ним. Кто-то, перебегая, наступил на его раскинутые,

обмороженные ноги. Мостовой не отрываясь целился. Среди выстрелов, огня он вел на конце ружья танк.

Чего они кричат? Кто бежит? Стрелять надо тех, кто бежит. Но он не разжимал стиснутых челюстей. Он целился. Мелькнуло рядом испуганное лицо разведчика. Танк поворачивал башню. Заметил. В глаза, в сердце мертвой пустотой глянуло дуло орудия. Прыгнуло вверх, закачалось. Только не спешить. Шурясь, он сдерживал палец, нажимавший спуск. И уже не дышал. Он задержался, нажал, и спусковой крючок сорвался легко и бессильно. И в тот же миг перед сощуренными глазами Мостового сверкнул огонь. Ему показалось, что это ружье взорвалось в его руках.

Ослепительно сверкнувший огонь и еще что-то острое вошло в него, в мозг его, в тело, вошло безболезненно и мягко, словно не было в нем ни костей, ни нервов. И Мостовой почувствовал странную невесомость, кружение и пустоту. Но и летя в пустоте, он еще боролся, он чувствовал, что его отрывают, и не давал оторвать себя от земли, хватался за нее руками, которых у него уже не было.

Вечность, во время которой он еще сознавал, больно, трудно расставаясь с жизнью, так и не поняв, что расстается с ней, — все это для постороннего глаза слилось в короткое мгновение.

Люди, с гранатами прижавшиеся к земле, пока башня танка, поворачиваясь, дулом выбирала кого-то из них, видели, как орудие остановилось, сверкнуло пламенем. И сейчас же перед головой

Мостового, слившейся с ружьем, в тот самый момент, как ружье выстрелило по танку, взлетел огонь. Потом с земли, держа руками окровавленную голову, поднялся разведчик. Танк с ходу ударил его в грудь, подмял, пронесся над ложиной. Но тут в вихре снега, несшегося с ним вместе, все осветилось вдруг изнутри, сотряслось от взрыва, и люди упали на землю. А когда поднялись, танк стоял без башни, и красное пламя с черной каймой копоты развернулось и махнуло над ним, как воткнутый в него флаг.

— Куда? Назад!

Ищенко на бегу размахивал в воздухе пистолетом. Но за грохотом мотора тракторист не слышал его, и трактор продолжал идти. Железный, обдающий жаром, запахом горячего масла и солянки, он прошел близко, укладывая под себя на снег дрожащие гусеницы. За ним шло орудие на высоких колесах, бежал расчет с охапками хвороста, с какими-то жердями, подпихивали, подкладывали, некоторые срывали с себя шинели, стелили под колеса пушки.

А в черном небе, над ложиной, над этими людьми, неслись светящиеся пули.

— Где комбат?

Несколько голов обернулось. Из-за станины выскочил командир взвода в шапке, в гимнастёрке, с портупеей через плечо, весь новенький, как пряжки на его амуниции. Ищенко смутно помнил его в лицо и не помнил по фамилии. Один из тех

лейтенантов, которых после боя присылают пополнять убыль в дивизионе и которых после следующего боя уже не хватает.

— Почему орудие здесь? Где командир батареи?

— Туда нельзя, товарищ капитан! Крутой подъем. — Оторвав руку от виска, лейтенант указывал на высоту, загородившую дорогу. — Низом быстрой. Обойти...

Все было правильно: они отходили к лесу. Ищенко только показалось, что они повернули обратно, в бой.

— Тянетесь как мертвые! — закричал он. — Там люди погибают, а вы тянетесь, черт бы вас взял! Где командир батареи?

— За командира батареи я, лейтенант Званцев! — докладывал командир взвода, дыша паром, и от его гимнастерки подымался пар. — Командир батареи послан вперед выбрать огневые позиции!

И он был счастлив и горд, когда говорил: «За командира батареи я, лейтенант Званцев!» Оттого, что он впервые в своей жизни остался за командира батареи, оттого, что его орудие раньше всех выйдет сейчас на позицию, и откроет огонь по танкам, и даст всем отойти.

Сутулясь, в длиннополой шинели, с опущенным пистолетом в руке, Ищенко стоял перед лейтенантом, шире его и выше ростом, с ненавистью глядя в его залитое крутым румянцем, пышущее здоровьем лицо. Из-за того, что его орудие еще здесь, а не в лесу, он, Ищенко, тоже должен быть здесь. А там, позади, еще два орудия, и за спиной

Ищенко, как напоминание, что нужно идти туда, под обстрел, дышал разведчик, которого он взял сопровождать себя.

— Быстро к лесу! — приказал Ищенко и крупно зашагал назад.

Он шел в сторону боя, и разведчик с автоматом, не отставая, шел за ним, словно вел его под конвоем. И чем ближе подходили они, взбираясь по крутому боку оврага, тем сильнее накапливалось в Ищенко раздражение против этого разведчика, свидетеля каждого его шага, каждого движения.

А тот шел, положив руки на ствол и приклад автомата, висевшего у него на шее, и чувствовал себя постыдно. Там, на поле, под разрывами, под огнем танков дрались и умирали ребята, его товарищи, а он здесь, в безопасности, бегал за капитаном с батареи на батарею, и на каждой батарее капитан кричал и тряс пистолетом.

Вдруг Ищенко, онемев, увидел немецкие танки. Они стояли. Стояли открыто, заметаемые снегом, и ждали. Как раз там, за высотой, куда Званцев вел орудие.

Еще не успев ничего подумать, решить, подчиняясь инстинкту, Ищенко молча, на полусогнутых ногах, пригибаясь, побежал вниз. Он побегал не на батарею, которая продолжала идти, не подозревая, что идет прямо на танки, ожидающие ее. Он кинулся в сторону. В сторону от людей, кого обязан был вывести или с кем вместе — умереть. Инстинктом, опытом, некогда переданным ему другими, обострившимся умом Ищенко осознал

мгновенно, что сейчас легче уцелеть одному. Уцелеть... Вырваться!.. Он бежал, понимая, что начнется позади него.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан, куда вы? — не понимая, что случилось, и единственно тревожась за начальника штаба, которого ему было поручено охранять, кричал сверху разведчик. Он не видел танков и стоял открыто спиной к ним.

Оттуда блеснула длинная молния, позже донесло стук пулеметной очереди. Но это, когда разведчик уже лежал на снегу.

Долго еще Ищенко слышал его голос, пронзанный болью, зовущий на помощь:

— Товарищ капита-ан!..

Он звал, но не верил, что его могут бросить.

Задыхаясь, хватая ртом воздух, Ищенко бежал через кусты. Одного только жаждал он сейчас страстно: чтобы разведчик замолчал, замолчал наконец, не стонал так громко. И исполнилось. Он услышал близкую автоматную очередь, и голос разведчика пресекся.

Ищенко упал в снег. Сердце колотилось в горле, в висках. Он не мог бежать, только бессильно вытирал шапкой лицо.

В той стороне, куда Званцев вел оружие, хлестали уже пулеметные трассы, и все там было в этом мгновенно-сверкающем, несущемся отовсюду стремительном огне. Ищенко метнулся в другую сторону. Упал. Прополз открытое место, коленями, руками гребя снег. В кустах опять вскочил. Бежал, согнувшись, с зажатым в руке пистолетом.

Пули низко летели над ним, над его спиной, над хлястиком шинели, и он бросался из стороны в сторону.

Он знал: если не вырваться сейчас, — конец. Танки с фронта и с тыла двинутся теперь навстречу друг другу, и всё, что окажется между ними, будет раздавлено. Но еще есть щель, еще можно проскочить. И он бежал, по стрельбе угадывая направление. Не туда, где сейчас тихо: там, в темноте, тоже танки. К ним, под гусеницы, пулеметным огнем погонят немцы сбившихся в кучу людей.

Ищенко бежал кустами, пережидал, нырял под трассы и снова бежал. Молча. Со взведенным пистолетом в руке.

Немец вскочил, темный в свете зарева, пригнувшись, метнулся к воронке. Короткой очередью Ушаков пришел его к земле. Оглянулся назад. Сквозь снег увидел, что дальше отсюда орудие подходит уже к лесу. Метров пятьдесят еще, и оно станет на опушке, и под прикрытием его огня отойдут остальные. И тогда он снимет цепь и тоже отойдет к лесу. А там можно драться, когда спина защищена.

— Гляди! — крикнул он Васичу, подползшему к нему в этот момент. Лицо Ушакова было возбуждено, стальные, мокрые от слюны зубы блестели в красном зареве. — Видишь?

Приподнявшись, он рукой в перчатке указал назад.

И тут из-за поворота лощины, почти от леса, огненным веером ударили по орудию пулеметные трассы. Что-то мутное сквозь метель, темное, низкое вышло наперерез, сверкнуло огнем, и, прежде чем донесло выстрел, все увидели, как там, у орудия, заметались на снегу люди. А по ним в упор бил танк из пулемета, и снова сверкнула его пушка, и снова — разрыв!

Ушаков уже стоял на ногах. Он не видел, что по нему стреляют. Скрипнув зубами, он побежал под уклон, вниз, туда, где стоял подбитый бронетранспортер. Там зенитный пулемет. Бронебойные патроны... Успеть развернуть... Успеть! Прикрыть людей огнем!.. Мысль эта билась в нем, пока он бежал вниз, под гору.

Васич увидел, как справа, слева от Ушакова возникли две параллельные огненные трассы. Он бежал в середине, без шапки, прижимая локти к бокам. Между двумя трассами возникла третья струя огненного металла. Она вонзилась в Ушакова, прошла через него, и он упал.

Трассы погасли. Танки в пшенице зашевелились, лязгая, стреляя огнем, двинулись на людей, лежавших с автоматами в ямках, в воронках от снарядов.

Двинулись, чтобы сомкнуться с другими танками, вышедшими наперерез, от леса.

А Ушаков еще бежал. Мыслью он бежал туда, к бронетранспортеру, где был зенитный пулемет. Его надо развернуть... И Ушаков полз по снегу, приподымался, падал, опять полз, весь в снегу,

оставляя за собой широкий кровавый след. Он еще не чувствовал, что убит, он жил. И ему повезло в последние секунды его жизни: с яростной силой над ним заклокотал зенитный пулемет. Кто стрелял? Быть может, он сам? Все мешалось в его мутнеющем сознании. И только одно было явственно: над полем, над бегущими людьми, прикрывая их, неслись к танку огненные трассы. Ушаков закричал, вскочил, весь устремляясь туда... Умирающий человек едва заметно зашевелился со стоном, и поднялась голова: волосы в снегу, мокрое от растаявшего снега лицо, мутные глаза. Он еще увидел ими, как там, куда бил пулемет, вспыхнуло ярко и загорелось.

Горел немецкий танк. Это было последнее, что видел Ушаков, и умер он счастливый.

Он не знал, что горит наш трактор, подоженный немецким снарядом.

Глава 5

Он не видел, как уже по всему полю, по открытому месту, проваливаясь в снег, бежали люди — к лесу, к лесу, — а танки сквозь метель гнались за ними, в спины били из пулеметов, и люди падали, и некоторые еще ползли. Хорошо, что он не видел этого!

Сорвав голос, Васич пытался собрать людей:

— Сюда! В овраг!

Но люди не слышали его: смерть была за спиной.

— Сюда-а!..

Он дал очередь над головами бегущих.

Несколько человек, поняв, изменили направление, кинулись к оврагу. Падая, закувыркались через головы в облаке снежной пыли. Внизу, вскочив, затравленно отряхивались, кто-то смеялся некстати, нервным, лающим смешком. И сейчас же над краем оврага, отрезая темное небо, понеслись светящиеся веером пули.

— Стой! — крикнул Васич, пресекая первое инстинктивное стремление людей бежать, и тряхнул поднятым автоматом.

Близко горел трактор. Овраг был залит дрожащим мутным красным светом. И в этом мутном свете косо неслась красная метель. Люди стояли, обступив Васича. Запавшие виски, провалившиеся щеки, в блестящих глазах отражался пожар. Они смотрели на Васича этими испуганно блестящими глазами. Он остановил их, он крикнул: «Стой!» — он должен знать, что делать дальше. Наверху, среди разрывов и рева танков, пулеметные очереди выкашивали живых, тех, кто еще метался по полю. А они сбились здесь, освещенные пожаром, и танки могли появиться в любой момент.

Низко, все снижаясь, пронеслись вдогон друг другу стаи огненных пуль: из метели надвигался к краю оврага танк.

— Кто бежит? — Васич тряхнул над собой автоматом. Он видел, как несколько человек присело под пулями, беспокойно озираясь. — Никому не бежать! Вон пушки!

Он указывал автоматом в сторону пожара. Одна пушка, брошенная всеми, неудобно завалилась набок: левое колесо было отбито. Трактор, державший ее на тросе, горел наверху. Около другой суетился расчет. Они на руках скатывали ее вниз, надеясь открыть огонь, но уже видно было, что не успеют, и они понимали это и только жались вокруг, не решаясь бросить.

— Подрывай пушки! — крикнул Васич. — Кто побежит от пушек, — стреляю!

Из лиц, с одинаковым выражением смотревших на него, глазами выхватил лицо старшины.

— Старшина, веди!

А сам побежал ко второй пушке, на ту сторону оврага. По ней уже косо, навесным огнем рубили пулеметные трассы.

— Подрывай! — Он издали, на бегу махал рукой. — Подрывай пушку!

Они поняли. Кто-то рослый, торопясь, кинул гранату в ствол, и все врассыпную бросились от орудия, попадали в снег. Почти одновременно ударили два взрыва. Вскочив, люди побежали дальше, освещенные со спин. И вместе с ними по красному от пожара снегу бежали, вытянутые вперед, их тени.

Когда достигли замерзшего русла ручья, Васич оглянулся. Пот из-под шапки заливал глаза. Он вытер его жестким рукавом шинели. Туда, где стояли пушки, уже вышел танк. И башни других танков смутно маячили сквозь метель и зарево. От них, сверкая, неслись длинные огненные струи, неслись вдоль оврага, сюда. Бежавший впереди солдат оста-

новился, выпрямился, пошел боком, боком, схватился за деревце. Он стоял в снегу, качаясь, и деревце все ниже гнулось под его тяжестью. В тот момент, когда Васич подбежал, макушка деревца стремительно взлетела вверх, и он едва не споткнулся об упавшего поперек дороги человека. На откинутой руке его еще шевелились пальцы, последним усилием скребли снег, но глаза уже мертво закатились под лоб.

Русло ручья, заваленное снегом, петляло. Задыхаясь, обливающиеся потом люди бежали, пригибаясь в кустах. По ним вдогонку били пулеметы, и над согнутыми спинами мгновенно сверкало. Но лес был рядом. Темный, он приближался из метели. Лес! Жизнь!.. И вдруг оттуда в упор ударили автоматы. И люди заметались в красных, зеленых, желтых огненных струях, бьющих отовсюду. Вспышки на исказившихся лицах. Вспышки на снегу. Крик ужаса и боли.

— За мной! — властно закричал Васич, заглушая все голоса. И те, кто упал на снег, и те, кто полз, увидели, как он встал перед ними во весь свой рост с яростным, обернувшимся к ним лицом и автоматом в поднятой руке, словно заслонив их собою от пуль и немцев.

— За мно-ой!

Васич бежал, прижав к боку бьющийся в ладонях автомат. Он не видел — знал, чувствовал, что за ним, рядом с ним в едином слившемся крике бегут люди на выстрелы, выставив перед собой огненные трассы пуль. В метели все сшиблось, смешалось. Каски. Распяленные в крике рты. Рвущиеся из зем-

ли огненные вспышки гранат. Чье-то черное, вскинутое взрывом тело...

Среди деревьев, с шипением впиваясь в стволы, неслись расплавленные струи металла. Но это уже вслед, вслед... Лес распахнулся навстречу.

А в трех километрах отсюда огневики, посланные вперед рыть орудийные окопы, все еще долбили мерзлую землю. Скинув шинели на снег, распоясанные, в одних шапках, с ремнями через плечо, они работали без перекура: командир батареи торопил их, поглядывая на часы. Потом и он сам взялся за кирку. И когда взмахивал ею над головой, под мышками обнажались темные, все увеличивающиеся круги. У солдат от потных спин шел пар, и от земли, там, где пробили мерзлый слой, тоже подымался пар, и она казалась теплой на ощупь.

Все время, пока они работали, южнее, недалеко где-то, слышен был бой: разрывы снарядов и частая пулеметная и автоматная стрельба. Но здесь, перед ними, где ожидался прорыв танков, фронт был устойчив, только чаще обычного взлетали над передовой ракеты.

Эта непонятно отчего возникающая южнее и все усиливавшаяся стрельба будила тревогу.

К пяти часам, когда окопы были закончены, бой прекратился. Солдаты разобрали шинели, сидя в свежих ровиках, горячими от лопат и кирок руками свертывали сигарки, курили, жадно засасываясь табачным дымом впервые за много часов.

Притоптав сапогом окурок, командир батареи вылез на бруствер, долго стоял, вслушиваясь в

ночь. Северный ветер свистел над равниной, в пустые орудийные окопы порошило снежком. Еще гуще стала темнота перед утром. Время близилось к шести. Дивизион все не шел.

И никто из них — ни командир батареи, ни эти солдаты, отдохавшие в затишке, — не знал, что и они сами и вырытые ими окопы — все это было уже в тылу у немцев.

Двадцать шесть человек собрал Васич в лесу. Двадцать шесть оставшихся в живых и не понимающих хорошенько, как после всего они еще живы. В порванных, обожженных шинелях они сидели на снегу, держа автоматы на коленях, неотдышавшиеся, размазывали по лицам пот, грязь и кровь, и многие даже не чувствовали еще, что ранены. Кто-то страшно знакомый, без шапки стоял под деревом на коленях, горстью хватал снег и прикладывал к виску. Снег тут же напивывался кровью, он отбрасывал его, сгребал горстью новый и прижимал к виску. По щеке его текли растаявший снег и кровь, телогрейка на груди и колени ватных брюк были мокрыми. Проходя мимо, глянув в лицо, Васич узнал его: Халатура. Тот самый разведчик, который ходил с ним и с Мостовым. И Васич обрадовался, увидев его живым.

Рядом с Халатурой солдат, хрипло смеясь, свертывал трясущимися пальцами курить, нервно дергал головой.

— Как он нас, а?.. Ка-ак он нас!..

И прыгающие пальцы просыпали табак.

Другой, взведя пружину, хмурясь, заряжал на коленях автоматный диск, торопился, поглядывая в сторону выстрелов. Еще слышны были танки и далеко где-то немецкие голоса, перекликавшиеся по лесу. Бил с бронетранспортера миномет, и мины, задевая за ветки, рвались в воздухе, как шрапнель. Сюда, в глубину леса, пока еще достигали редкие пули.

Васич стоял под деревом, спиной опершись о ствол, сунув руки в карманы шинели. Он знал, что немцы продвигаются по лесу, скоро они будут здесь. Но он все не давал приказа отойти. Где-то еще должны быть люди. Отбившиеся, прорвавшиеся поодиночке. Не может быть, что это все и больше никого не осталось. Он отходил последним, где-то бродят поблизости те, кто раньше пробился в лес. И он все ждал и не уводил остатки дивизиона. Люди, сидя на снегу, прислушивались к голосам и выстрелам: они как будто приблизились.

Подошел Ищенко.

— Люди беспокоятся. Чего мы ждем?

Васич поднял на него глаза. Он смотрел на него и что-то хотел вспомнить. Что-то важное, с ним связанное.

— Ты отходил с первой батареей?

— Нет, — быстро сказал Ищенко. — Первую вел Званцев. Я как раз был у них перед этим... Перед тем, как танки прорвались. А что? Ты почему спрашиваешь?

Но Васич не заметил его беспокойства. Он думал о своем: «Должен был еще кто-то пробиться в лес. Не могли все погибнуть».

— Из тех, что с тобой отходили, жив кто-нибудь?

Ищенко молчал. Он боялся этого вопроса.

— Постой, ты с какой батареей?..

Тогда Ищенко закричал:

— Ты что, проверяешь меня?

Васич посмотрел на него, и тяжелое подозрение шевельнулось в нем. Он опустил глаза. Теперь он вспомнил, что Ищенко не было ни на второй, ни на третьей батарее, когда он приказал подорвать пушки. Ищенко должен был отвести орудия к лесу или подорвать их. Он не сделал ни того, ни другого. И на первой батарее, когда прорвались туда танки, его, оказывается, тоже не было.

— Вот! Вот! — кричал Ищенко, показывая на шинели дырки от пуль и осколков, просовывая в них палец. — Вот где я был! Со всеми! Проверять меня!.. Ты брось!.. Виноватого ищешь?

«Это он не от обиды кричит. Он хочет быть оскорбленным. Неужели бросил людей? Орудия? Неужели убежал один?»

Васич стоял, глядя вниз.

— Послать разбитый дивизион под гусеницы танков! Без рекогносцировки! Не разведав, не уточнив! Нами затыкали дыру, как амбразуру чужим телом! Кто отвечает за это? Они проехали по нас! Давили людей танками! Рядом со мной срезало связного! Очередью с танка! Вот!

Он опять проткнул дыру на рукаве. И когда его палец прошел тем путем, каким вот здесь прошла пуля, случайно только не убившая его, он содрогнулся. Содрогнулся от ненависти к людям, послав-

шим его под танки, и от жалости к себе. Им никакого дела не было до всей его прожитой жизни. Он, безусловно прослуживший столько лет, провоевавший всю войну, мог сейчас, как те, порезанные из пулеметов, раздавленные танками, валяться на снегу. И теперь за то, что он жив, его хотят сделать виновным!

Вспыхнула над лесом ракета, и Васич близко увидел его лицо. Бледное, зеленоватое при падающем сверху химическом свете, с черными раздраженными глазами, оно дрожало от нервной судороги, комкавшей его. И странный лес окружал их: черные, движущиеся тени деревьев на зеленом снегу.

— Ты что предлагаешь?

Он спросил тихо, сдерживаясь.

— Раньше надо было предлагать! Когда отправляли! Разбитый с тремя пушками дивизион против «тигров»!.. У меня пять патронов в пистолете. Кто отвечает за это?..

А в самой глубине сознания билась мысль: отвлекь. Отвлекь Васича, пока подозрение не укрепилось в нем. И рядом с этим — жалость к себе. Такая, что ломило сердце. Если его жизнь для них ничего не значит, так он сам должен бороться за нее. Сам! И может поступать как хочет.

— Что ты сейчас предлагаешь?

— Судить! За все, что произошло здесь!

Длинная автоматная очередь пронеслась над ними, и при ее мгновенном огненном свете глаза Ищенко блеснули.

— Замолчи!

От тяжелых толчков крови в ушах Васич плохо слышал. Приблизившееся, выкрикивающее какие-то безумные слова лицо Ищенко, близкие выстрелы, ночь, осветившаяся вдруг трассами пуль, засверкавшими среди деревьев... Люди уже вскочили на ноги и стояли сгрудясь. Если они услышат то, что кричит этот человек, если поверят, что кто-то виноват во всем происшедшем здесь, они не смогут бороться, не выйдут, погибнут здесь.

— Замолчи!..

Голос, которым Васич сказал это, испугал Ищенко. Но выстрелы приближались, и отчаяние придало ему смелости.

— Правды боишься? — закричал Ищенко. — Поздно...

С единственным желанием спасти этих людей, которых он вывел сюда из-под огня, Васич потянулся к кобуре. В тот момент, когда он почувствовал пистолет в своей руке, лицо Ищенко — белое, расплывшееся пятно — отшатнулось от него и горячие пальцы вцепились в его руку. Вместо глаз Ищенко чьи-то другие, испуганные глаза.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан!

Лейтенант Голубев держал его за руку. А уже бежали под выстрелами солдаты, и вслед им в черноте ночи сверкали меж стволов огненные трассы пуль. Люди, пригибаясь, на бегу отстреливались назад. Васич вырвал руку с пистолетом, но Голубев еще крепче схватил ее. Мимо пробежали трое. Средний, Кривошеин, прыгал на одной ноге, обняв за шею двух других, и солдаты почти несли его.

— Пусти! — сказал Васич.

Он все равно не смог бы уже стрелять: сейчас это было бы убийство, и только.

С пистолетом в руке он отступал последним. И всякий раз, перебегая от дерева к дереву, видел, что Голубев ждет его. Обойма кончилась. Он сорвал с шеи автомат. Целясь из-за деревьев, бил короткими очередями по вспышкам и снова отбегал, пригибаясь, метя по снегу лапами шинели.

В густом, засыпанном снегом сосняке Васич опять собрал людей и повел их на северо-запад. На карте, лежавшей у него в планшетке, поместился только краешек этого леса — опушка, где они провались, опрокинув немецкую засаду. Дальше карты не было. Он вел людей по компасу. И люди, с доверием следовавшие за ним, не подозревали, что он ведет их почти что наугад. Знал об этом один Ищенко, но он теперь молчал.

Васич шел впереди, сутулясь больше обычного, словно всю тяжесть разгрома нес на своих плечах. И когда он оглядывался, он всякий раз ловил на себе отчужденный, испуганно-недоумевающий взгляд Голубева, мальчика, которому он, если бы даже захотел, все равно ничего не смог бы объяснить. Голубев поспешно отворачивался.

Все дальше от выстрелов уводил Васич остатки дивизиона. Он вел их в тыл к немцам, в глубину обороны; там, не на пути передвигающейся массы войск, было сейчас безопасней. Солдаты несли на себе раненых и их оружие. Последним шел Баградзе с длинным, туго набитым белым мешочком в руке. Даже когда прорывались в лес, он, потеряв автомат, оставшись с одним наганом, не бросил

этот мешочек. В нем, завернутая в промасленную бумагу, лежала целая вареная курица, жареное баранье мясо, хлеб, несколько крутых яиц и соль в плоской коробке. А на поясе Баградзе булькала обшитая сукном немецкая фляжка с водкой. Все это он нес для командира дивизиона. Он шел последним и оглядывался назад: он все еще надеялся, не мог поверить, что майора Ушакова нет в живых.

Багровое пламя горящих танков долго в эту ночь металось по ветру, смутные отсветы его, освещающая поле и край леса, дрожали на снегу, на стволах деревьев, на лицах и шинелях убитых. Бой отодвинулся, но здесь по временам еще раздавались взрывы, и пламя и искры высоко вскидывались вверх. Потом пламя погасло. И лес и поле опустелись во тьму. Еще светился раскаленный металл, и от земли, вокруг догоревших танков, шел пар, и снег таял на ней. Но он уже не таял на лицах убитых. Разбуженные в теплых хатах, где они после многих суток боев впервые спали раздетые, во всем чистом, даже во сне ощущая покой и тепло, поднятые среди ночи по тревоге, они этой же ночью досыпали на снегу вечным сном под свист поземки.

А ветер выл и выл, тоскливо, по-зимнему. В небесной выси за облаками своим путем плыла холодная луна, еще недавно освещавшая этим людям путь; поле под ней то светлело, то хмурилось. И снег все мело и мело между крошечными, коченеющими на ветру бугорками тел.

Глава 6

Высунув бинокли из хвои, Васич и Голубев наблюдали за черной точкой, медленно приближавшейся к ним. В безмолвии лежала снежная равнина под низким зимним небом. Было позднее утро, но солнце еще не показывалось. Только по временам сквозь облака ощущалось тепло его, и тогда снег светлел, и резче видна была на нем движущаяся черная точка.

У Васича мерзли ноги. Он шевелил пальцами в тесных сапогах. Рядом возился Голубев. От голода у него глухо урчало в животе, он всякий раз сбоку испуганно поглядывал на Васича, нарочно громко сморкался, кричал, терся боком о ствол сосенки, и на шапку, на спину ему падал сверху снег. Вдобавок ему нестерпимо хотелось курить, так, что рот был полон слюны. Он сплевывал голодную слюну в снег и опять приставлял бинокль к глазам.

Черная точка, увеличившись, разделилась на две, и они вместе приближались. С той стороны, откуда двигались они, шла через поле линия связи на шестах. Провод был зеленый, немецкий. У нас тоже пользовались этим трофейным проводом. Оставалась маленькая надежда, что это могут быть наши связисты.

Далеко за краем поля возник звук мотора. Он приближался, и земля начинала дрожать. С низким рычанием прошла за складкой снегов тяжело груженная машина, невидимая отсюда; только снежный дымок, взвихренный колесами, поднялся над гребнем, заслонив связистов. Когда он рассеялся, уже отчетливо видны были две человеческие

фигуры на снегу. Они то сходились, сливаясь вместе, то узенький просвет возникал между ними. Вдали затихал звук мотора.

— Товарищ капитан! — зашептал Голубев озябшими губами. — Разрешите, возьмем их. Перережем связь — сами в руки придут.

Васич глянул на него. От холода лицо Голубева было бурым. Придавленный шапкой, свешивался на бровь курчавый чуб, весь в снегу. Молодой, здоровый парень. А тут еще замерз.

— Лежи! — сказал Васич.

Из-за двух немцев не мог он рисковать всеми людьми. Этих двух взять нетрудно. Но за ними придут другие. И впереди целый день.

Опять с тяжелым гудением, так, что земля под ними начала дрожать, прошла внизу машина, невидимая за складкой снегов. Когда она в облаке движущегося снега показалась на поле, то была далеко и ее невозможно было рассмотреть. Но те двое уже различались простым глазом, а в бинокли видны были даже светлые пятна лиц между шапками и туловищем.

Вдруг проглянуло солнце, на короткий миг осветив снежное поле. И при этом ярком зимнем солнце еще мрачней стало низко нависшее пасмурное небо. Теперь в бинокли виден был и цвет шинелей. Это были немцы.

Васич смотрел на немцев и уже не чувствовал холода.

— Товарищ капитан, разрешите, — попросил опять Голубев, дрожа всем телом от нетерпения. — Мы их запросто возьмем.

Он говорил шепотом, потому что в бинокль немцы казались совсем близко.

— Лежи! — сказал Васич не сразу.

Солнце опять скрылось, и шинели немцев стали черными. Оба они стояли на месте, словно не решаясь идти дальше. Так они стояли долго, потом начали удаляться.

Оставив Голубева наблюдать, Васич слез в овраг, отряхиваясь. Люди, спавшие на снегу вповалку, зябко натянув на уши воротники шинелей, просыпались. После того, что произошло ночью, после короткого сна на снегу, во время которого они только промерзли, они просыпались подавленные, тело болело, как избитое, в голове — тяжесть. При белом зимнем свете лица были желтые, несвежие. У Баградзе за одну ночь щеки заросли черной щетиной до глаз. Он потерянно сидел один, и у Васича, когда он глянул на него, что-то больно сжалось в груди: смерть Ушакова роднила их.

— Корми людей, Арчил, — сказал он.

Тот поднял на него глаза и сейчас же опустил их. В этих словах для него другой смысл был главным. Приказывая раздать всем то, что он, ординарец, нес для командира дивизиона, Васич впервые сказал вслух, что Ушакова нет. Расстелив на снегу плащ-палатку, Баградзе резал курицу, и губы у него дрожали.

Кто-то перевязал уже Халатуру. В маске свежих бинтов, промокших и запекшихся на виске, его желтое, монгольского типа лицо было маленьким. Один глаз затек, но другой, узкий, черный, живой, как ртуть, глядел весело.

Васич подошел к Кривошеину, сел рядом с ним на снег. Тот лежал на спине с закрытыми глазами. Сквозь сильную бледность уже явственно около губ и носа проступила синева. Он истекал кровью. Она все шла и шла, наполняя брюшину. Всем нужно было дождаться здесь ночи. И только одному ему нельзя было ждать: если что-либо еще могло спасти его, так это немедленная операция.

Кривошеин открыл глаза, долго смотрел, не узнавая, потом издали, из глубины вернулось сознание, и взгляд осмыслился.

— Вот видите... — сказал он и улыбнулся бескровными губами. — Я лежал и думал, как мелочи вырастают в глазах людей, когда нет настоящего несчастья.

Он говорил тихо, с перерывами, с усилием.

— Перед самым боем меня больше всего волновало, что я неумело поприветствовал командира дивизиона. Не сам бой... не возможность вот этого... — слабой рукой он указал на себя, — а то, что я смешон, неловок. В сущности, это даже правильно. Люди не идут в бой умирать. Живые думают о жизни...

«Ему лет тридцать пять, — думал Васич. — Есть ли у него семья?» Но он не решался спросить об этом.

Если бы Кривошеин попал сейчас на операционный стол, в хорошие руки!.. Васич увидел руки Дины, крупные, с длинными пальцами; ногти острижены до мяса; руки, в которых характер виден не меньше, чем в лице. Он никогда прежде не встречал таких умных, одухотворенных рук. А может, он

просто любил их? Странно, что все началось с неприязни. После операции она вошла в палату, глубоко сунув руки в карманы, так, что на плечах из-под халата остро проступили углы узких погон. За нею следовала палатный врач — с историей болезни на согнутой руке, как с младенцем. Обе они остановились у его кровати. Она долго, уверенно отдавала распоряжения, а его тошнило после наркоза и до холодного бешенства раздражал резкий, властный голос этой женщины. Ни он, ни она в тот момент не думали, что два с половиной месяца спустя, лежа у него на руке, похорошевшая, с жарко горящими щеками, она скажет ему: «Ты помнишь, с какой ты ненавистью смотрел на меня?»

А после, приподнявшись на локте, долго вглядываясь в его лицо влажно блестящими в темноте глазами, она сказала:

— Подумать только, что ты мог попасть не в мои руки!..

При зеленом свете месяца сквозь морозное окно у нее зябко вздрогнули голые плечи.

— Ведь я сшила тебя из кусков.

И часто ночью, раскрыв на его груди ворот бязевой рубашки, она гладила ладонями рубцы на его теле, рассказывала ему про каждый из них и целовала.

— Какие у тебя мощные ключицы! — говорила она с гордостью, любовно трогая их.

А он смеялся, что она изучает на нем анатомию. Она брала в свои руки кисть его руки, пыталась

охватить пальцами запястье, и пальцы ее не сходились.

— Знаешь, в форме ты даже не выглядишь таким сильным.

Но чаще, когда один за другим прибывали санитарные поезда, — еще ничего не сообщалось в сводках, но здесь, в госпитале, все уже знали, что начались сильные бои, быть может, наше наступление, — она возвращалась после операции немая от усталости, с синевой под глазами и быстро засыпала на его руке. Тогда он осторожно вставал, садился у окна, обмерзшего доверху, курил и смотрел на нее. Она спала, а он смотрел на нее. Он чувствовал себя сильным оттого, что есть на свете эта маленькая женщина, оттого, что она спит, сжавшись в комок, и ей спокойно спать, зная, что он здесь.

К полуночи комната выстывала. Он бесшумно открывал железную дверцу печи, складывал костериком с вечера приготовленные дрова и щепки и, сидя на корточках, поджигал их.

Она просыпалась от потрескивания березовых поленьев.

— Мне стыдно, — говорила она, поеживаясь в тепле под одеялом, — но я ничего не могу с собой сделать. Это защитная реакция организма. После всех бессонных ночей.

И она опять засыпала и просыпалась, когда уже пел чайник на раскалившейся до малинового свечения плите и в комнате было жарко. Ночью, вдвоем, не зажигая огня, только открыв дверцу печи, они пили чай. Трещали дрова, трещали на улице деревья от мороза, мохнатое от инея окно было си-

ним, а скатерть на столе и сахар в сахарнице — красными от пляшущего огня.

— Я растрепанная, да? — спрашивала Дина, трогая рукой волосы, и глаза ее счастливо блестели. — Ты не смотри. А хочешь, смотри. Все равно я счастливая

И на руках ее, на губах, на лице были отсветы печного огня...

Дина пишет: у них — сын. «Такой твой сын, ты даже представить себе не можешь! Даже мизинец на ноге твой, подвернутый, даже родинка на правом плече, на том же самом месте, только крошечная. Маленький Васич. Будь жив, родной! Без тебя ему по каким-то законам даже не хотят дать твоей фамилии»...

— Я хотел попросить вас, — сказал Кривошеин. — Тут, внизу, весной вода в овраге. Размывает все. Так чтоб не внизу похоронили. Не хочется, знаете ли...

Васич сказал:

— Вечером мы прорвемся к своим.

— Мне это уже поздно.

Он сказал это с твердым сознанием, спокойно, своим тихим, вежливым голосом. И после этого долго смотрел на вершину сосны, сквозь облака скупо освещенную солнцем.

— У вас семья? — решил спросить Васич. Кривошеин не слышал, видимо. Он все так же лежал на спине и смотрел на снеговую вершину сосны.

— Тут ничем не поможешь. Я думал... Если проветесь, сообщите, где похоронен. А может быть, и этого не надо.

И он закрыл глаза, потому что очень устал.

А кругом в овраге солдаты в это время ели. Держа в черных от пороховой копоти и грязи руках холодную баранину, с жадностью рвали ее зубами, громко высасывали куриные кости, грызли сухари. Они ели впервые после боя, после этой страшной ночи. Кто поел раньше всех, сворачивал сигарку сальными пальцами, стараясь не смотреть на тех, кто еще ест.

Васич отошел от Кривошеина, сел на скате оврага. Сейчас же Баградзе на промасленной бумаге принес ему кусок мяса, соль и хлеб.

За лесом, за снегами на юго-восток отсюда шел бой. Глухо, как удары о землю, доносило разрывы снарядов. Васич ел и слушал этот дальний бой, не удалявшийся и не приближавшийся.

Сверху скатился Голубев, весь в снегу. Он был рад, что его сменили, что сейчас поест, что можно наконец двигаться, и один производил шуму больше, чем все остальные.

— Скотинкой обзаводимся?

Он радостно хлопал себя руками по застывшим бокам, подмигивал. И тут только Васич заметил вертевшуюся в овраге среди солдат, неизвестно как попавшую сюда деревенскую собаку, тощую, рыжую, с острой, как у лисы, мордой. Должно быть, она пришла из леса, куда загнала ее война: поблизости нигде деревни не было. Кто-то бросил ей высосанную кость, и она, поджимая хвост между ног, дрожа худым телом, на котором проступали все ребра, поползла к ней. Грызла ее на снегу, рыча и скалясь. И люди, сидевшие по обоим скатам овра-

1а, смотрели на нее и прислушивались к звукам дальнего боя: глухим ударам разрывов и едва внятной на таком расстоянии пулеметной стрельбе. По временам за складкой снегов с низким гудением проходила тяжело груженная немецкая машина. Было пасмурно, как перед вечером, а день еще только начинался.

Васич сидел, опершись локтями о колени. После еды в животе согрелось, тепло потекло по всему телу, горячие глаза слипались. Он положил тяжелую голову на руки и перестал бороться со сном.

Вздрыгнув, он проснулся, как от толчка. Огляделся вокруг налитыми кровью, встревоженными глазами. Но все было такое же: и пасмурный день, и овраг, и люди в нем; иные из них дремали, иные, томясь, ходили взад-вперед. После короткого сна, в котором все неслось, рушилось, кричало и сталкивалось, он проснулся внезапно, и время остановилось. Наяву оно текло нестерпимо медленно. И снова тяжесть случившегося легла Васичу на плечи.

Неужели нет Ушакова? И опять он увидел, как тот бежал без шапки, с прижатыми локтями, и две пулеметные струи, возникшие по бокам его, и третью, сверкнувшую посредине.

При жизни Васич видел все его недостатки, а сейчас только с болью чувствовал, что Ушакова нет. Недостатки... Ушаков жил как в бою, когда на раздумья остаются доли секунды. Он не раздумывал, он принимал решение не колеблясь, и это было правильно, раз он так решил, в себе он не сомневался, и люди себя чувствовали с ним спокойно. Он

был талантлив в бою. Не опытом, не умом даже — чувством, которое есть не у каждого.

Если вдуматься, он потому и видел недостатки Ушакова, что был свободней. Ушаков — не жалуясь, гордясь! — нес на себе главное, Васич только дополнял его. Теперь все легло на его плечи. Ему надо было вывести отсюда людей, и ради этого, ради них он готов быть с ними и жестоким и несправедливым — обратная сторона поступков вперые не волновала его.

Он сидел на скате оврага, на снегу, положив руки на колени, нахмуренный, и, хотя он ничего не говорил, люди чувствовали силу, исходившую от него, и подчинялись ей. И силу эту чувствовал Ищенко, все время наблюдавший за ним. Теперь, когда непосредственной опасности не было, когда по ним не стреляли, Ищенко жалел о том, что говорил в лесу. Как это у него вырвалось? Ведь он выдержанный.

«Какая мразь! — думал Васич, еще и оттого с такой ненавистью, что этот жив, а Ушаков убит. Он старался не смотреть на Ищенко: каждый раз, когда он видел его, все в нем холодело и мрачное ожесточение подымалось в душе. Но он все время чувствовал на себе его взгляд. — Как он кричал!.. Вот в этом вся разница между ним и Ушаковым. Окажись они в оккупации, Ушаков и там собрал бы вокруг себя людей. Не собрал — один дрался бы с немцами. А этот тихонько опустил бы на окне белую тюлевую занавеску: и мир видно через нее, и тебя не увидят. Вдвоем с женой, за занавеской, можно и немцев переждать. Вот так и в Германии мил-

лионы занавесок опустились на окнах, когда фашисты еще только приходили к власти. Какая мразь!..»

«И ему поверят! — думал Ищенко. — Одно слово, и жизнь человека может быть перечеркнута. Восемь лет беспорочной службы, вырос до капитана, учился...»

Даже сейчас о годах учебы он подумал как о тяжелом подвиге своей жизни. Трудом и терпением брал он то, что некоторые умники хватали на лету. И они открыто смеялись над ним. Смеялись до тех пор, пока ему, дисциплинированному, требовательному курсанту, хорошему строевику, не присвоили звание младшего сержанта. Два эмалевых треугольничка привинтил он к своим петлицам, два крошечных символа власти, и сразу все эти умники увидели, что он не глупей их. От двух треугольников до четырех капитанских звездочек — целая жизнь. А сколько терпения! Его прислали в полк одним из восемнадцати командиров взводов. Он стал одним из девяти командиров батарей, потом поднялся до одного из трех начальников штаба дивизионов. Вверх пирамида сужалась, но он все время рос. И вдруг вся жизнь, все его будущее — в руках этого человека. Он ненавидел сейчас Васича смертельно. И вместе с тем понимал: надо что-то сделать, как-то изменить это впечатление о себе, может быть еще не укрепившееся.

«В тот момент он готов был предать всех, — совершенно точно подумал Васич, вспомнив снова лес, ночь, лицо Ищенко и то, как он кричал: «Теперь поздно. Надо было раньше думать!..» — Что поздно? С немцами воевать? Предал бы, факт. И уже

предал, потому что бежал. Из жалости к себе. За тех, кто жалеет себя в бою, другие расплачиваются кровью. Это закон войны».

Васича вдруг поразила мысль: вот Ищенко, одетый в форму, охраняемый званием. За каждым его приказанием подчиненному, приказанием, которое не обсуждается, стоит вся власть и моральный авторитет армии, слава живых и мертвых. Их именем приказывает он, их власть в этот момент в его руках. И вот он же, раздетый страхом до своей сущности. Такому доверены жизни людей! И Васич подумал холодно: «Выйдем — будем его судить».

Вскоре Ищенко увидел, как Васич подозвал к себе Голубева, и они вместе стали совещаться о чем-то, расстелив карту на коленях.

«Мне надо подойти, — думал Ищенко. — Он не имеет права меня отстранять. Я начальник штаба. В конце концов я капитан и он капитан».

Но хотя оба они были равны по званию и даже в известном военном смысле положение Ищенко было предпочтительнее, он чувствовал, что не может встать и подойти, хотя имеет на это все права. Что-то другое, что не выдается вместе с очередным званием, заставляло людей подчиняться Васичу. Эту силу, исходившую сейчас от него, Ищенко чувствовал на расстоянии. И он все сидел, страдая, мучаясь, понукая себя и все же не решаясь встать и подойти.

К полудню потеплело. Густо повалил снег. Он опускался в безветрии большими мягкими хлопьями. Даль исчезла, как в густом тумане, опустилось

небо, а снег все падал беззвучно, поглощая звуки вокруг. На черные остовы сгоревших танков и тракторов, на выжженную до корней трав землю вокруг них, на шинели, на лица мертвых, на замерзшую кровь. Он ложился на поле боя, хороня убитых, расстрелянных из пулеметов, и к полудню только свежие холмики белели на нем.

Овраг, извилисто разрубивший лес, раздвинул его своими боками, и в небе, среди голых вершин дубов, среди дымчатых, отягощенных снегом вершин сосен образовалась широкая просека. Оттуда, из шевелящегося белого пространства, падали крупные серые хлопья. Шапки людей, спины людей, сидящих в овраге, были белы под слоем снега. Одни сидели в позе долгого ожидания, сунув в рукава озябшие руки, другие спали, натянув воротники шинелей на уши.

В густом снегопаде бой за лесом стал глуше, отдаленней, но он не прекращался весь день. И весь день — к фронту, к фронту — проносились немецкие машины, и земля сотрясалась. Пользуясь плохой видимостью, наблюдатели наверху подползли близко к дороге и лежали в кустах. У них не было белых маскхалатов, но они лежали неподвижно, и снег закрыл их. Только лица, бинокли и руки виднелись из снега. И перед их биноклями машины проносились по дороге, машины со снарядами, машины с немцами — дрова в костер незатухавшего боя.

Под артиллерийскую далекую канонаду медленно текло время в овраге. Внезапно собака села на

снег и завывала. И вой ее, низкий, протяжно-тоскливый, повторил зимний лес. Это умер Кривошеин, тихо, словно заснул. Подняв вверх острую морду, собака выла по покойнику, а снег все шел и шел...

Глава 7

Докурили по последней сигарке. Притоптали. Между деревьями морозно дымилась багровая заря. Она гасла, и снег на лапах сосен был уже синий, холодный. Быстро темнело.

— Посидим перед дорогой?

— Насиделись за день!

В сумерках голоса звучали негромко, в них — трудно сдерживаемое нетерпение.

— Пошли?

Васич посмотрел вверх. Над вершинами леса — гаснущее небо. Ни огна звезда не освещала им путь. Он махнул рукой:

— Пошли!

И все полезли из оврага по крутому боку, спеша, осыпая ногами снег. Только один остался там. Навсегда остался в мерзлой земле, которую днем живые выдолбили для него ножами и кинжалами.

Наверху, отдышавшись, двинулись через лес в синих густеющих тенях, держа оружие наготове. Молодые сосны, росшие густо, царапали иглами по шинелям, и долго еще после того, как люди прошли, качались потревоженные ветки. С них падал снег.

На опушке Васич остановил всех.

— Никитенко! Чеботарев! — негромко позвал он.

Лица уже плохо различались. Подошел Никитенко в черных от машинного масла и копоты подшитых валенках, в ватном бушлате. Вторым, вразвалку, отодвинув плечом стоявшего на дороге солдата — «Посторонись, друг!», — подошел Чеботарев. Он был поменьше ростом, но молодцеватый, снизу вверх смело глянул в глаза.

Эти двое могли вести машину, и Васич не хотел рисковать ими в ночном суматошном бою, когда все пули шальные. Он оглядел обоих. У Чеботарева был автомат.

— Поменяйся с ним! — приказал Васич, кивнув на бойца с карабином. — Гранаты есть?

Чеботарев неохотно достал из карманов две гранаты-«лимонки», еще неохотней отдавал свой автомат.

— Что мы, товарищ капитан, красивой всех? — самолюбиво говорил он, чувствуя перед остальными неловкость.

— Ждите здесь, — сказал Васич. — В бой не ввязываться. Захватим машины — позовем.

И он увел остальных дальше. У дороги, в кустах, замерзшие наблюдатели встретили их. Старший, трудно двигая непослушными от холода губами, докладывал с хрипотцой:

— Идут все в ту сторону. За час, — он щелкнул ногтем по наручным часам с зелеными фосфорическими цифрами, — три штуки проскочило.

Бойцы стояли, сгрудясь, слушали с напряженными лицами. За спиной Васича, по-детски открыв

рот, дышал Голубев. Блестела в темноте пряжка портупей на груди Ищенко.

— Последняя крытая была. Под брезентом немцы пели по-своему. На погоду, должно.

И улыбнулся собственной шутке: рад был, что кончилось их одинокое сидение в кустах.

Уже сильно стемнело, и только поле впереди светилось от выпавшего недавно чистого снега. Темное небо, поднявшись над лесом, легло одним краем на поле, придавило его. И в ту сторону стремилась накатанная, слабо мерцавшая дорога. От нее доносило ветром едва внятный на морозе запах бензина. Запах этот сейчас будил тревогу.

Васич разделил людей на две группы. Одну увел Голубев, с другой он сам залег у дороги, в том месте, где машины, одолев подъем, должны были переключать скорость.

Лежали молча, слушая тишину. Дыхание морозным инеем садилось на шапки. Помня запрет, никто не решался курить. От этого еще медленней текло время. Позади погромыхивал фронт. Ночью он был слышней, словно приблизился. Бухали оружейные выстрелы, мгновенными зарницами вспыхивали за лесом разрывы, и пулеметы незримой строчкой безостановочно сшивали клочья тишины.

Вдруг кому-то послышалось:

— Едут!

Приподымаясь, вглядывались слепыми в темноте глазами. Но собака, сидевшая на снегу, опершись на вытянутые передние лапы, не обнаруживала беспокойства. И чем напряженной вслушивались,

тем только сильней шумела кровь в ушах, и уже ничего невозможно было разобрать.

Опять лежали. Ожидание томило людей. Начали сползаться по двое, по трое. Шепотом зашелестели рассыпанные, отрывочные разговоры, готовые смолкнуть в любой момент. Два раза прибежал от Голубева связной, пригибаясь в темноте, как под пулями. Там, видно, тоже не терпелось.

Когда услышали наконец, с захлестнувшим сердце волнением, боясь ошибиться, какое-то время берегли тишину. Васич развязал тесемки под подбородком, освободил ухо, вспотевшее под шапкой. В шуме ветра над равниной явственно слышалось далекое, по-комариному тонкое завывание мотора.

— Рассыпья! — скомандовал он.

Но люди уже сами перебежали на свои места. Повизгивая, беспокойно вертелась собака.

— Лежать! — крикнули ей.

Рядом с Васичем разведчик, сидя на снегу потатарски, телефонным проводом спешно связывал три гранаты вместе. Рукавицы он скинул, и они болтались у рукавов телогрейки на шнуре.

Снова прибежал от Голубева связной.

— Товарищ капитан, лейтенант велел передать: мы до вас пропускаем!..

— Нехай пропускают, — затягивая зубами узел, невнятно буркнул разведчик, и единственный сожмуренный от усилия глаз его блеснул из бинтов холодно и трезво.

Теперь отчетливо слышно было нарастающее гудение нескольких моторов, далеко где-то бравших

подъем. Замерзшая земля, на которой лежали люди, чугуно гудела под ними, тряслась все сильнее. И это дрожание неприятно передавалось всему телу, всем внутренностям. Стало трудно удерживать собаку. Ей сжимали челюсти, и она скулила жалобно, со слезой.

Машины смутно возникли на дороге и опять исчезли в лощине. Они долго гудели там. Времени казалось, они удаляются. Потом на подъеме возник передний «оппель» — широко разнесенные черные колеса, давившие толстыми шинами снег, мощный радиатор, широкий буфер, — все это, переехав гребень, двинулось по дороге, быстро увеличиваясь. Васич смотрел с земли, и машина казалась огромной. Она стремительно приближалась. В снежную пыль, поднятую ею, доверху кутались кабины двух других, шедших следом.

В черном стекле передней вспыхнул уголек сигареты, смутно осветив кабину изнутри. И Васич увидел лицо немца, сидевшего за стеклом. Он уверенно сидел в машине, мчавшей его, властно смотрел на дорогу перед собой, как он, наверное, смотрел уже на сотни других дорог.

Васич не мог на таком расстоянии, ночью, видеть его. И тем не менее с обострившейся ненавистью он отчетливо увидел это лицо врага.

Заскрежетало в коробке передач: переключали скорость. Опять вспыхнула в стекле сигарета и, прочертив в воздухе красную дугу, подхваченная ветром, полетела в снег. В тот же момент Васич приподнялся на одной руке, пересиливая голосом рев трех моторов, крикнул:

— Огонь!

Он кинул гранату, целя в кузов, упал ничком. Ни он, ни рядом упавший разведчик не видели, как под черным днищем машины и за нею вырвались из земли два яростных куста пламени. Грохот взрывов, визг тормозов, треск ломающегося дерева, крики... И все это прошла автоматная очередь. Зазвенели разбитые стекла.

Едва просвистели над головой осколки гранат, Васич вскочил. Взорванная машина поперек загородила дорогу; с нее под выстрелами прыгали черные фигуры в шинелях. Но во второй машине, твердо ступив сапогом на подножку, в полный рост стоял в открытой кабине немец и, уперев в живот автомат, веером сеял над дорогой трассирующие пули. А шофер под прикрытием огня пытался развернуть машину. По ним стреляли.

— Машину береги! — закричал Васич, подняв над собой растопыренную пятерню. Под самые ноги ему брызнула трассирующая очередь. Он выстрелил из пистолета и побежал к немцу. И еще несколько человек бежало за ним, стреляя. Немец стоял, держась рукой за дверцу, качался вместе с нею. Когда Васич подбежал, он плашмя рухнул на дорогу. Выбитый при падении автомат скользнул по снегу в сторону. На другую подножку вспрыгнул разведчик с забинтованной головой, в упор, через стекло застрелил шофера.

Стреляли отовсюду — из-под машин, из кювета; прыгали в кузов, стуча сапогами, и оттуда били по немцам. Не успев закрепиться, они бежали по полю

в своих широких шинелях, проваливались в снег, падали, стаи светящихся пуль неслись оттуда. Но на дороге люди открыто перебежали от машины к машине, снимали оружие с убитых, в несколько голосов звали куда-то запропавшего Никитенку. Выстрелы еще раздавались, но все было кончено. Так быстро, что где-то по снежной целине подгоняемый ветром, еще скакал уголек выброшенной сигареты, рассыпая красные искры. Тот, кто выбросил его, по-прежнему сидел в кабине. Подбежав, держа пистолет в левой руке, Васич дернул дверцу — немец мягко вывалился под ноги ему. Он не был похож на того властно-уверенного врага, которого представил себе Васич. Этот немец был старый, ссохшийся, как гриб, маленький. При падении шапка слетела с него, и о дорогу с костяным стуком ударилась голая, совершенно лысая голова. Ей уже не могло быть холодно даже на снегу, и все-таки Васич испытал неприятное чувство, обыскивая его. Он взял документы, снял полевую сумку: немец был в каких-то чинах. Поднявшись, увидел суетившихся на снежной дороге людей и среди них рослого Голубева. Крикнул:

— По машинам!.. Голубев! Проезжай вперед!..

Когда Васич вскочил в кабину, Чеботарев уже сидел за рулем. Стоя на подножке, держась рукой за открытую дверцу — точно так же, как до него стоял здесь убитый им из пистолета немец, — Васич махнул Голубеву проезжать, пока они разворачиваются. Последние солдаты прыгали с оружием в кузова машин. И тут Васич заметил мечущуюся на

дороге собаку. Она металась между машинами и лесом, словно звала людей в лес. Несколько голосов стало кликать ее. Она радостно залаяла, побежала к лесу. Но, видя, что никто не следует за ней, остановилась. Боялась ли она немецких машин, или не хотела покидать эти места, где, может быть, лежало под снегом остывшее пепелище деревни, или уже лес властно манил ее, но она все стояла в отдалении на снегу и лаяла. И тут раздался хлопок выстрела. Васич увидел из-за кабины, как в небо светящейся звездой косо взлетела ракета и вспыхнула там. Яркий свет опускался сверху на дорогу, мигом опустевшую; только несколько трупов валялось на ней и обе машины, словно выросшие вдруг.

— Проезжай!

Васич махал рукой. Машина Голубева тронулась наконец, минуя тела убитых. Держась за ее борт руками, бежал, подпрыгивая, отставший солдат. Его поспешно втянули в кузов.

Как только Чеботарев тронулся следом по узкой бровке дороги, медленно обходя взорванную машину, с поля, где залегли уцелевшие немцы, брызнули огненные трассы пуль, засверкали около бортов и впереди, светящейся стайей низко пронеслись над кабиной. Кто-то вскрикнул в кузове. Люди попадали на дно. Сжав губы, Чеботарев вел машину, заставляя себя смотреть на дорогу. От пуль его защищало сбоку только пробитое стекло кабины. Мотор рычал все сильнее, машина дрожала от напряжения, но левое заднее колесо ползло с дороги в рыхлый снег. Бледное лицо Чеботарева, не только руками —

душевым усилием помогавшего машине сдвинуться, яростная дрожь мотора и подножки, на которой стоял Васич...

— Бей по вспышкам! — закричал он сорванным голосом. — Прижимай к земле!

Он не видел — слышал только, что с передней машины тоже стреляют.

— Огонь! Огонь! Не давай головы подняты!

И, подталкиваемые его криком, люди стреляли из-за борта в поле, где вспыхивало в темноте короткое пульсирующее пламя...

Содрогаясь, как живая, машина медленно выползла на дорогу. И как только оба задних колеса зацепились за твердое, вся сила, клокопавшая в моторе, рванула ее с места; дорога, слившись в белую полосу, понеслась под сапогами Васича, стоявшего на подножке; ветер толкнул в лицо, едва не сбив с него шапку. И люди, перебегая на ходу к заднему борту — их швыряло в кузове, — стреляли назад. Там при свете догоравшей ракеты выскочили на дорогу несколько немцев, паливших из автоматов, но и они, и дорога, и взорванная машина на ней — все это стремительно откатывалось назад, уменьшаясь.

В стекле кабины с тремя пулевыми пробоинами и брызнувшими во все стороны белыми трещинами качалась снежная дорога. Она неслась навстречу из темноты. Пулевые пробоины в стекле скакали вверх-вниз, не давая взглянуть, ветер гудел в них, как в горлышке бутылки. Васич открыл дверцу. Ту-

гим ветром толкнуло в лицо. Он зажмурился. Впереди по дороге тряско бежали высокие немецкие фуры, запряженные каждая двумя першеронами. Обе машины (теперь Голубев шел сзади) быстро нагоняли их.

Придержав шапку, Васич заглянул в кузов. На полу его, сидя спинами к ветру, солдаты жадно курили из рукавов первую с тех пор сигарку. Только раненый лежа нянчил свою пробитую пулей руку, оберегая ее от толчков.

— Живы? — крикнул Васич.

— Живы! — ответили ему разногласно и весело.

Глаза, лица людей дышали неостывшим азартом боя.

— Прикройсь!

Быстрая езда, ветер, бивший в ноздри так, что трудно было дышать, холодок близкой опасности... Васич захлопнул дверцу. Поднял стекло. Ветер прексся, и на минуту исчезло ощущение быстрой езды. Только гудел мотор и давило на уши.

В боковом стекле замелькали повозки с крутящимися колесами, тяжело бегущие мохнатые лошади, с передних сидений оборачивались лица немцев — все это, возникнув, исчезало. Глаза Васича через стекло на короткое мгновение встретились с глазами немца-ездового, и тот с изменившимся лицом закричал вдруг что-то, указывая на машину рукой.

«Разглядел!» — обожгла мысль. Он сбоку глянул на Чеботарева. Тот почти лежал на руле, носком сапога придавливал газ.

— Разглядел немец, — сказал Васич вслух.

Узкие глаза Чеботарева азартно блеснули.

— Разглядел — полдела. Догони!..

Неслась навстречу дорога. Ветер угрожающе гудел в пулевых пробоинах, клочьями рвался по сторонам. Васич отодвинулся в глубину кабины, в темноту. Радостный холодок теснил сердце.

С правой стороны понеслись деревца посадки. Мелькнула машина с поднятым капотом и двое немцев, влезших головами в мотор. Дорога была здесь сильно изрыта гусеницами. Васич всматривался в темноту, но стекло блестело в глаза. Он опустил его. Сквозь кинувшийся в лицо ветер увидел в посадке мрачные, темные тела танков. Немцы сновали между ними. Один немец с ведром перебежал дорогу перед самыми колесами, добродушно погрозил кулаком.

— Сбавь газ! — приказал Васич. И, поймав удивленный, непонимающий взгляд Чеботарева, объяснил: — Дорога к фронту. Немцу туда торопиться незачем, он гнать не станет.

Близкий орудейный залп ударил в уши, в темноте сверкнули длинные молнии. «Легкая батарея», — определил Васич, мысленно отмечая место, где она стоит, так же как в посадке он считал танки. — Только б дорога не перекопана. Тогда проскочим...» Он верил, что не успели перекопать: фронт не установился, шли подвижные бои. И еще раз подумал: «Тогда проскочим».

Они уже опять мчались во всю мощность мотора и не чувствовали этого, потому что мыслью они

мчались еще быстрее. Дорога летела под колеса, в свисте ветра проскакивали назад километры, но фронта все не было видно.

«Надо остановиться, послушать фронт». Но Васич только вглядывался в темноту. Вдруг увидел засигналивший им впереди красный огонь фонарика. Это регулировщик требовал остановиться. Быстрый взгляд Чеботарева. Васич кивнул. Всеми напрягшимися мускулами слившись с машиной, он знал, чувствовал, как сейчас будет. Они не остановятся. Удар! — и проскочат дальше. И ждал этого удара. Но тут сознание толкнуло его.

— Тормози!

Впереди на дороге могла быть пробка.

— Тормози! — крикнул он. Его бросило на стекло, откинуло назад. Визг тормозов второй, мчавшейся за ними машины. И — тишина. Они стояли. На щеках, в ушах Васич еще чувствовал ветер. Он тяжело дышал. К машине шел немец. Васич открыл дверцу. И сразу услышал фронт: близкий грубый стук пулеметов, частую строчку автоматов и потрясший воздух разрыв снаряда. Фронт был рядом. Васич спрыгнул на землю. Он увидел немца, подходившего к машине, — это был офицер, увидел стоящий с краю дороги мотоцикл с коляской и пулеметом; от этого места, протоптанный множеством колес, отходил в поле съезд, и столб с прибитыми стрелками указывал направление. Но главное, он увидел, что дорога впереди свободна.

А немец подходил, и на груди его, пристегнутый кожаной петлей за пуговицу, покачивался фонарик.

Он шел к машине, на затоптанной снегом подножке которой была примерзшая кровь немца. И на железном полу кабины, смешавшись с растаявшим снегом от сапог, была кровь. И немец шел сюда. Он смотрел прямо на Васича. Он не мог не видеть его. Но Васич спокойно стоял рядом с немецкой машиной, а немец был так уверен, что в сознании привычное впечатление заслоняло то, что видели сейчас глаза.

Васич подпустил его ближе, шагнул навстречу и в упор выстрелил в грудь.

Он не заметил, что из-за машины, сбоку, подходил к нему еще автоматчик. В тот момент, когда немец отшатнулся, падая, Васича сильно ударило. Вздвогнув от толчка, он обернулся, увидел перед собой присевшего солдата-немца и в его руках наставленный на него, Васича, брызжущий огнем автомат. Это была смерть, он понял сразу, но отчего-то не мог ничего сделать, ни крикнуть, ни отскочить, а только стоял и прикованно смотрел на этот брызжущий в него огонь.

Огромная черная тень сзади прыгнула на немца, и все покатилося.

Потом Васич чувствовал, что его под мышки тащат куда-то вверх. Сознание возникало и обрывалось, и то, что видел он, не было связно. Он увидел потолок кабины, увидел над собой лицо Голубева при красной вспышке огня. Что-то нужно было сказать Голубеву. Успеть сказать. Важное что-то. Васича больно потрянуло и потом уже все время трясло, и от боли он терял мелькавшую мысль.

Ветер хлынул ему навстречу, щеками, лицом, уже покрытым смертной испариной, он почувствовал его. Васич со всхлипом вдохнул в себя холодный воздух, и ему стало легче.

Глава 8

Таяло. За окном на маленькой деревенской площади грязь и снег размешаны колесами. У коновязи рыжий, блестящий на солнце жеребенок, задрав пушистый хвост, пугливо делал свое дело; от свежего навоза шел пар. Жеребенок вдруг отпрыгнул в сторону и скрылся из виду: через площадь, разбрызгивая сапогами жидкий снег, быстро прошел озабоченный Баградзе с охапкой хвороста. Ищенко остро позавидовал ему.

Он сидел посреди комнаты за столом. По-весеннему горячее солнце ломилось сквозь пыльные стекла, блестело в графине с водой. В дымной, накуренной комнате было жарко от солнца.

Ищенко сказали сесть, как только он вошел. А трое — командир полка подполковник Стеценко, капитан СМЕРШа Елютин и замполит майор Кораблинóв, хмуро сидевшие до этих пор за столом, встали сразу же и отошли в разные углы комнаты. Они встали, чтя память погибшего дивизиона, встали перед ним, живым вышедшим из этого боя, потому что бой, в котором они сами участвовали, был несравним с тем, из которого вышел он с горстью уцелевших людей.

Но Ищенко не почувствовал этого. Он шел сюда на допрос, боялся этого допроса, и, когда ему ска-

зали сесть, он сел как подсудимый. Его настораживало их какое-то непонятное отношение к нему. Он не доверял им, сидел напряженный и на вопросы отвечал точно: ни больше, ни меньше того, о чем его спрашивали.

В какой-то момент отношение к Ищенко переменялось — он это почувствовал сразу. Командир полка странно глянул на него темными, прижмуренными глазами и отвернулся к окну. И с тех пор молча курил у окна: Ищенко видна была его прямая спина, мускулистая прямая шея, лысеющий затылок, которым он едва не доставал до низкого потолка хаты. Каждый раз, отвечая на вопрос, Ищенко взглядывал на командира полка, в нем инстинктивно искал защиты. Но видел только смуглую щеку, сожмуренный от табачного дыма глаз и кончик черного его уса.

Замполит нервно ходил по комнате или вдруг садился на кровать, раскачивался, сутулясь, зажав ладони в коленях. Он был самый молодой из них, недавно назначенный на эту должность из замполитов третьего дивизиона, и его Ищенко не боялся.

Вопросы с обдуманной последовательностью задавал теперь Елютин. Обняв себя руками за могучие плечи, он почесывал спину об угол этажерки, но глаза из-под крупного, с залысинами лба смотрели холодно и пристально. Всякий раз, встречая их взгляд, Ищенко чувствовал перебой сердца и противную слабость в коленях.

Он помнил Елютина еще в погонах летчика, в хромовых сапогах на меху: его прислали к ним в

полк из авиационной части. Сейчас на Елютине были армейские кирзовые сапоги, на плечах — артиллерийские погоны.

— Значит, третья батарея к лесу уже подходила? — спросил Елютин.

— Первая, — терпеливо поправил Ищенко.

Елютин все время путал номера батарей и расположение их. Но Ищенко казалось, что он не случайно путает, и, весь напрягаясь, он старался следовать за его мыслью, предугадать дальнейший вопрос.

— Ну да, первая! А танки уже видны были? Стрелять можно было по танкам?

Над деревней, придавив все на земле гулом моторов, шла большая волна бомбардировщиков; стекла в хате тонко зазвенели. Слышно было, как в сенях и по крыльцу затопали сапоги ординарцев: побежали глядеть. Елютин, улыбаясь, подмигнул Кораблинову на окно, за которым проходили в небе бомбардировщики: мол, вот оно, его родное, кровное. И хотя Ищенко понимал, что это не ему дружески улыбаются, ему так хотелось быть равным среди них, что губы его сами, произвольно и униженно, растянулись в ответную улыбку. Он тут же погасил ее, пользуясь тем, что никто на него не смотрит, быстро вытер пот с лица.

— По танкам, говорю, могли уже стрелять? — повторил Елютин вопрос, когда гул отдалился и снова стало возможно разговаривать.

— Орудие было в походном положении... Надо было привести в боевое... Стать на позицию...

Если бы об этом бое, во время которого почти безоружные люди сожгли шесть танков, дрались до последней возможности, дрались и умирали, не пропуская немцев, если бы об этом бое рассказывал Ушаков, которому нечего было стыдиться, он бы рассказывал с болью, но и гордостью. Ищенко оправдывался. Он мог оправдываться только за себя, но он рассказывал о дивизионе, и получалось, что в действиях всего дивизиона — и тех, кто жив, и тех, кто погиб в бою, — было что-то постыдное, что он старался скрыть.

А за окном стояли две пробитые пулями немецкие грузовые машины, и в кузове одной из них, на плащ-палатке, лежал убитый Васич.

— Мы хотели успеть отойти к лесу. Чтобы спина была прикрыта. И там стать на позицию. А то танки могли с тыла обойти...

— «Стать на позиции...», «Походное, боевое положение...» — перебил Елютин. — Вот в соседней бригаде, когда Запорожье брали... Тоже ваши системы — стапятидесятидвух... Комбат... Как его?.. — протянув руку в сторону замполита, Елютин нетерпеливо щелкал пальцами, как бы прося подсказать. — Еще он в оккупации был...

— Харсун?

— Харсун! Вел батарею в походном, как ты говоришь, положении, видит — танки! Ни в какое боевое положение он ее не приводил, времени у него на это не оставалось. Развернулся, ахнул! Ахнул! Восемь снарядов — два танка горят! Получай орден!

С точки зрения артиллериста, Елютин говорил немыслимые вещи. Когда пушка в походном положении, ствол специальным механизмом оттянут назад. Из нее не то что стрелять, ее зарядить в таком виде невозможно. В артиллерии это знает последний повозочный.

Елютину кто-то что-то рассказывал об этом случае, и он уверенно говорит сейчас вещи, которых ухо артиллериста просто слышать не может.

Первое движение Ищенко было объяснить, что так не бывает. Но он вовремя сдержался. Он понял, этого Елютин ему не простит — слишком уж это стыдно. И он побоялся возбудить в нем личную неприязнь к себе.

Ищенко глянул беспомощно на замполита, на командира полка. Никто из них почему-то не поправил Елютина, словно они не слышали. Стеценко все так же стоял у окна. Вынув трубку изо рта, он постучал ею о подоконник, выбил пепел, зарядил табаком и снова раскурил, хмурясь.

— Так. С одним вопросом как будто разобрались маненько, — удовлетворенно подытожил Елютин. И от этого «маненько», от общего молчания Ищенко стало страшно. Елютин подошел к столу, переложил какие-то бумаги и, отойдя к этажерке, опять обнял себя за плечи.

Издали донесся грохот бомбежки. В хате все затряслось, вода в графине покрылась рябью.

Это добивали прорвавшуюся немецкую группировку. Сутки подходившие артиллерийские части вели бой с танками — с марша в бой, с марша в бой — и преградили им путь. Сегодня с утра рас-

погодились, и при ярком весеннем солнце авиация доканчивала дело. Волна за волной бомбардировщики шли туда и сбрасывали груз сверху.

Стеценко обернулся от окна с трубкой в руке.

Теперь уже, когда операция заканчивалась и смысл ее был ясен, он знал о судьбе дивизиона то, чего не мог знать Ищенко. Когда ночью была перехвачена радиограмма и обозначилось направление немецкого танкового удара, он получил приказ срочно выдвинуть в район Старой и Новой Тарасовки третий дивизион своего полка, находившийся ближе всех к месту прорыва. И хотя тремя пушками невозможно было остановить всю эту массу двигавшихся танков, с военной точки зрения приказ, полученный Стеценко, был правилен. Задержать немцев хотя бы на короткий срок, выиграть время, пока подойдут артиллерия и танки, задержать теми силами, которые имелись поблизости, иначе прорыв мог разрастись и стоил бы еще многих и многих жизней.

Уже для командира корпуса подразделение, которое он приказал срочно ввести в бой, было просто третьим дивизионом 1318-го артиллерийского полка. Но для Стеценко это был дивизион его полка. С этими дюдьми он прошел войну и многих из них любил. И он понимал, в какой бой посылает их. Но война есть война, а они так же, как и он, солдаты. И вдруг случилось непредвиденное: немцы изменили направление танкового удара. С военной точки зрения это тоже было понятно и объяснимо: внезапность, инициатива в бою — ради них жертвуют чем угодно. Но там были его люди, не успевшие

окопаться, зарыть орудия в землю. Ночью на походе столкнулись они с немецкими танками... Командир полка знал это в масштабе всей операции. Но то, что произошло в дивизионе, видел Ищенко, и об этом он спрашивал его. Он ничего уже не мог изменить сейчас, но он хотел знать, как дрался дивизион, как погиб Ушаков. Слава живет и посмертно. С труса даже смерть не смывает позора. И небезразлично, как люди будут вспоминать твое имя, люди, ради которых ты жил и погиб. Понимал ли Ушаков, что бойцы его дерутся не зря? Не в их силах было остановить танки, но тот, кто с честью погиб в этом трудном бою, не ведает срама после смерти.

— Как погиб Ушаков?

Ищенко хотел сказать, что сам он в этот момент с ним не был, знает только со слов других, но подумал о следующем вопросе, который сейчас же задаст ему Елютин: «А где вы были?» И ответил, опустив глаза:

— Ушаков пал смертью храбрых.

Ушаков был любимцем Стеценко. Ищенко знал это. Он помнил, как летом прошлого года их отвели на формировку и в лесу они праздновали годовщину полка. Ушаков, пивший много, но не пьяневший, — он только становился медлительней в движениях, и глаза у него тяжелели, — среди общего шума налил себе полный стакан водки и, блестя четырьмя орденами на широкой груди, блестя стальными зубами, поднял стакан над головой в красной, обмороженной руке:

— Батько! Пьем за тебя!

Стеценко двинулся к нему. Они чокнулись, выпили: лысеющий, но все еще по-кавалерийски стройный Стеценко и небольшой, грубого, крепкого сложения Ушаков. Потом Стеценко, ладонью разгладив усы, в губы поцеловал Ушакова, и глаза у него были покрасневшие и влажные. И у многих офицеров глаза в эту минуту были влажными от слез. У Ищенко тоже стояли в глазах слезы, сквозь них радужным видел он мир и только завидовал Ушакову.

— Ты видел, как он погиб? — спросил Стеценко, глядя на него тяжелым взглядом. И Ищенко ответил:

— Видел...

Но что-то в голосе, во всем его поведении было такое, что командир полка отвернулся к окну, сильно дымя трубой.

Опять вопросы задавал Елютин. Как отходили в лес? Кто отходил последним? Так... Так... И по мере того, как Ищенко отвечал, неясное подозрение все больше укреплялось у Елютина.

— Ну, а люди еще могли оставаться в лесу? Или все вышли?

— Могли, — сказал Ищенко подавленно. Он вдруг почувствовал, что отсюда бой видится совсем иными глазами. Как объяснить Елютину, когда он не был в этом бою?

А Елютин задавал железные вопросы:

— Вы офицер. Имеете вы право отойти, пока не отошли все люди? Бросить людей? Когда капитан покидает корабль?

— Но в лесу командование принял на себя Васич, — сказал Ищенко. — Люди выполняли его приказ.

Он не помнил в этот момент, что Васич до последней возможности не хотел уходить, что он, Ищенко, торопил его. Он чувствовал сейчас только жалость к себе. Ушаков убит. Васич убит. И все хотят свалить на него. Почему теперь он должен отвечать за всех?

К столу подошел Кораблинов. Понятно, он замполит, хочет выгородить замполита. Ищенко никто не будет выгораживать.

Кораблинов налил стакан воды, звучно, в три глотка, выпил, поставил стакан и сразу же отошел, словно брезгуя быть с Ищенко рядом. На граненом стакане сверкала в солнечном луче капля воды. Ищенко хотелось пить, сухой язык еле ворочался в пересохшем рту. Но он боялся налить себе воды, чтоб не увидели, как у него дрожат руки. Он держал их под столом на коленях, и от потных ладоней коленям было жарко.

А Стеценко все так же курил у окна и не оборачивался. И Кораблинов отошел как можно дальше в угол. Никто не хочет делить с ним ответственность. Все на него!

И Ищенко вдруг заговорил о том, о чем даже не думал за минуту перед этим. Он говорил теперь, что если бы дивизион вели ближе к лесу, то, может быть, они успели бы развернуться и открыть огонь по танкам (о том, что около леса снег был глубокий и тракторы не прошли бы там, он уже не помнил сейчас). Он говорил, что разведка, с которой

Васич ходил вперед, только в последний момент предупредила их, когда уже было поздно. Он никого не думал подводить, он только не хотел отвечать за всех.

Елютин оживился.

— Так... так... — говорил он заинтересованно, словно докопавшись наконец до истины.

И Ищенко, торопясь и захлебываясь, говорил не то, что было, и не то даже, что он думал сейчас, а то, что, как ему казалось, ждал от него Елютин. И только одно выходило явственно: если бы его, Ищенко, спросили раньше, с ним посоветовались, всего бы этого не случилось.

— Ну, а вы-то, вы-то где были? — перебил его Елютин.

— Я в бою был. Я все время в бою был! — сказал он пересохшим голосом. И, боясь, что ему не поверят, стал показывать пробитую пулями и осколками шинель. — Со мной рядом очередь с танка убило связного. — В этот момент он сам верил, что это было так. — Вот! Вот!

И он опять протыкал палец в пробоины. Он показывал не раны даже, а всего лишь дыры в шинели.

Стещенко обернулся от окна. Смуглое лицо его было коричневым от прилившей крови.

— Идите!

И столько брезгливости было в его голосе, в глазах, глядевших на него, что Ищенко поспешно вышел, захватив с собой шапку.

Кто-то в коридоре отскочил от двери, кто-то уступил ему в сенях дорогу. Ищенко вышел на

крыльцо. У него болел висок, и таким несчастным, угнетенным чувствовал он себя, что, если бы жена пожалела его сейчас, он бы, наверное, не выдержал и заплакал. Только она могла понять и пожалеть его.

Не разбирая дороги, по мокрому снегу Ищенко пошел от крыльца. «Судить будут», — подумал он, но как-то тупо: очень болела голова. Он сам не заметил, как оказался около машин. На одной из них в кузове с открытым бортом (видно, на него подходили смотреть) лежал на плащ-палатке Васич. Смутное сознание вины перед ним, мертвым, шевельнулось у Ищенко. Он уже не чувствовал ни ненависти к Васичу, ни обиды на него. Было только нехорошо, что он что-то там не так говорил про него. Но он тут же успокоил свою совесть: Васич мертв, ему уже ничего не нужно и не страшно. Мертвые сраму не имут. Что бы там ни было, дома у него получат обычное извещение: «Пал смертью храбрых...» А вот он, Ищенко, живой... «А за что меня судить? Какие у них доказательства?» И опять в душе у него защемило от страха, когда он вспомнил, какими глазами командир полка смотрел на него и как он сказал это «Идите!..».

Но день был по-весеннему ярок, а Васич лежал желтый, с запекшимися кровью губами, и на руках его почему-то тоже была засохшая кровь. И, глядя на него, холодного, мертвого, Ищенко с особенной животной силой почувствовал, что сам он жив. Жив! И этот радостный, слепящий блеск солнца и запах весны в воздухе, чего уже никогда не почув-

ствует Васич, — все это для него, живого! И рядом с этим сознанием все остальное, даже страх его, все это было не главным, маленьким.

Кто-то звал его:

— Товарищ капитан! Товарищ капитан!

Он оглянулся. У разрушенного сарая на снегу горел бесцветный при ярком солнце костер. А вокруг костра в стелющемся по сырому воздуху дыму сидели солдаты, все те, кто ночью вырвался с ним вместе на этих машинах. Прокопченные, обросшие, с красными от недосыпания и дыма глазами, они, надев на шомпола куски сала, жарили над огнем шашлык. Ищенко пошел к ним. Он увидел жарящееся сало, капли жира, с треском падающие в огонь, услышал запах и с особенной силой, с которой он воспринимал сейчас окружающий его весенний мир, почувствовал, как он хочет есть.

Ему пододвинули перевернутое ведро, он сел у костра на лучшее место, и Баградзе прямо из огня дал ему в руки шомпол с нанизанными на него кусками прожарившегося сала.

— Ну что, как, товарищ капитан? — робко заглядывая ему в лицо, спросил Голубев. Все они, сидящие здесь у костра, чувствовали смутную вину оттого, что из всего дивизиона только они вырвались и живы. И они надеялись, что с часу на час подойдут еще люди. И даже перед ним они чувствовали некоторую вину, потому что, пока они здесь ели, его допрашивали там за всех. Ищенко понял это и понял, какими глазами они взглянули бы на него, если бы знали сейчас, что там произошло. И ему стало среди них неуютно, не по себе. Но он все

же ел их сало: ему очень хотелось есть. И жир капал с его пальцев, тек по подбородку.

Издали донесся глухой гром бомбежки. Возвращаясь, самолеты облегченно и весело взблескивали на солнце металлическими крыльями.

— Как там, товарищ капитан? — повторил Голубев свой робкий вопрос, когда опять стало слышно голоса, и кивнул головой в сторону штаба полка. Ищенко не смотрел на него. Он ел и смотрел в костер. С полным ртом он ответил неразборчиво.

Бакланов Григорий Яковлевич

МЕРТВЫЕ СРАМУ НЕ ИМУТ

М., «Советский писатель», 1962. 104 стр.

Редактор *В. Д. Раковская*

Художник *М. П. Клячко*

Худож. редактор *В. В. Медведев*

Техн. редактор *В. Г. Комм*

Корректор *Л. Н. Морозова*

Сдано в набор 17/X 1961 г. Подписано в печать 29/1 1962 г. А 03000. Бумага 70×103^{1/2}
Печ. л. 3^{1/4} (4,45) Уч.-изд. л. 3,77. Тираж 30 000
Зак. № 1621. Цена 11 к.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10

Типография имени Володарского Лениздата,
Фонтанка, 57

11 коп.

